

ИМАГОЛОГИЯ
И
КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

Научно-практический журнал

2017

№ 7

**РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
«ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА»**

А.С. Янушкевич (Томск) – отв.
редактор
О.Б. Лебедева (Томск) – зам.
отв. редактора
В.С. Киселев (Томск) – зам. отв.
редактора
Н.В. Хомук (Томск) – отв.
секретарь
А.А. Казаков (Томск)
Н.Е. Никонова (Томск)
Е.Н. Пенская (Москва)
В.В. Абашев (Пермь)
К.В. Анисимов (Красноярск)
Л.А. Ходанен (Кемерово)
Р.Ю. Данилевский (Санкт-
Петербург)
И.Ю. Виницкий (Калифорния,
США)
В.Г. Щукин (Краков, Польша)
Сузи Франк (Берлин, Германия)
Рита Джулиани (Рим, Италия)
Антонелла д’Амелиа (Салерно,
Италия)
Тимур Гузайров (Тарту, Эсто-
ния)

**EDITORIAL BOARD OF
THE JOURNAL
“IMAGOLGY AND
COMPARATIVE STUDIES”**

Aleksandr S. Yanushkevich
(Tomsk) – Chairperson
Olga B. Lebedeva (Tomsk) –
Deputy Chairperson
Vitaliy S. Kiselev (Tomsk) –
Deputy Chairperson
Nikolay V. Khomuk (Tomsk) –
Executivt Editor
Alexey A. Kazakov (Tomsk)
Natalia Ye. Nikonova (Tomsk)
Elena N. Penskaya (Moscow)
Vladimir V. Abashev (Perm)
Kirill V. Anisimov (Kras-
noyarsk)
Lyudmila A. Hodanen
(Kemerovo)
Rostislav Yu. Danilevsky (St.
Petersburg)
Ilya Yu. Vinitzky (California,
USA)
Vasily G. Shchukin (Cracow,
Poland)
Susi K. Frank (Berlin, Germany)
Rita Giuliani (Rome, Italy)
Antonella d’Amelia (Salerno,
Italy)
Timur Guzairov (Tartu, Estonia)

СОДЕРЖАНИЕ

ИМАГОЛОГИЯ

Соловьев К.А. «Господствуй и имей над щастьем полну власть»: семантика власти в торжественных одах М.В. Ломоносова	5
Пушкарева Ю.Е. Итальянский текст в критическом наследии и переписке И.В. Киреевского	26
Гузаиров Т. Назад в СССР: Куприн и Горький в изображении В.Е. Гущика (1938–1940).....	53

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ, ИМПЕРСКОЕ, КОЛОНИАЛЬНОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

От редактора	71
Янушкевич А.С. Особенности имперского текста В.А. Жуковского: идеология и культуртрегерство	77
Лебедева О.Б. Национальное, имперское, колониальное как фактор частной жизни: послание В.А. Жуковского «К Воейкову»	93
Созина Е.К. «Меж чуваш, татар, мордвы...»: Восточная Россия в казанском журнале «Заволжский муравей»	108
Алексеев П.В. Ф.М. Достоевский и кувшин Магомета	126
Анисимов К.В. «...В разорванной кибитке, посреди кур и добрых башкирцев». Л.Н. Толстой инвертирует европейский ориентализм (творчество и жизнетворчество в башкирской степи)	142
Франк С. Соловецкий текст. Часть 1	166
Мароши В.В. Монгольская империя в современных российских имперских проектах: фантастика, публицистика, фолк-истори.....	181
Сведения об авторах	197

CONTENTS

IMAGOLOGY

Solovyev K.A. “Rule and have all power over happiness”: the semantics of state power in Lomonosov’s solemn odes	5
Pushkareva Yu.E. Italian text in the critical works and correspondence by I.V. Kireyevsky.....	26
Guzairov T. Back to the USSR: Kuprin and Gorky represented by V.E. Gushchik (1938–1940).....	53

INTERNATIONAL CONFERENCE

«THE NATIONAL, THE IMPERIAL, THE COLONIAL IN RUSSIAN LITERATURE»

Kiselev V.S. Editorial.....	71
Yanushkevich A.S. Features of V.A. Zhukovsky’s imperial text: ideology and cultural enlightenment.....	77
Lebedeva O.B. The national, the imperial, the colonial as a factor of private life: V.A. Zhukovsky’s epistle «To Voeikov».....	93
Sozina E.K. “Amongst the Chuvash, the Tatars and the Mordovians . . .”: Eastern Russia in the Kazan magazine <i>Zavolzhskiy muravey</i>	108
Alekseev P.V. F.M. Dostoevsky and Mahomet’s pitcher.....	126
Anisimov K.V. «...In a tattered waggon, amid chickens and kind Bashkirs»: Leo Tolstoy inverts Western Orientalism (creation and life-creation in the Bashkir steppe).....	142
Frank S. The Solovki text (Part 1).....	166
Maroshi V.V. The Mongol Empire in modern Russian imperial projects: fantastic fiction, publicism, folk history.....	181
Information about the authors	197

ИМАГОЛОГИЯ

УДК И 930.85

DOI: 10.17223/24099554/7/1

К.А. Соловьев

«ГОСПОДСТВУЙ И ИМЕЙ НАД ЩАСТЬЕМ ПОЛНУ ВЛАСТЬ»: СЕМАНТИКА ВЛАСТИ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ ОДАХ М.В. ЛОМОНОСОВА

Семантика торжественных од М.В. Ломоносова позволяет проследить эволюцию взглядов автора на власть и ее носителей в России XVIII в. В первых одах власть представлена как ценное качество государства, необходимое, прежде всего, для, военных побед. В дальнейшем семантическое поле власти постоянно менялось под действием как «внешних» факторов, так и «внутренних». Став старше, искуснее и опытнее, автор ощутил в себе силы и осознал право обратиться от восхвалений к наставлению. В конце жизни М.В. Ломоносов пришел к пониманию необходимости напоминать власти о ее обязанностях перед народом.

Ключевые слова: Российская империя, XVIII век, М.В. Ломоносов, торжественные оды, семантика власти.

М.В. Ломоносов был одним из тех, кто, не являясь историком по профессии, в XVIII в. создавал историческую науку России. Для него, как и для других историографов эпохи (В.Н. Татищев, М.Н. Щербатов, а в начале XIX в. Н.М. Карамзин), не существовало жестких границ между литературой и историей как способами письма, при этом, естественно, они осознавали различие между художественным вымыслом и исторической правдой. Повествование о событиях прошлого как яркий, эмоционально насыщенный рассказ, обязательная нравственная оценка поступков исторических лиц, сопереживание героям и объяснение событий, лежащее скорее в плоскости психологии, чем поиска закономерностей, – все это общие черты исторических сочинений эпохи. Еще одна особенность – осознанная публицистичность на грани морализаторства, не оставлявшая места объективизму в отборе, изложении и оценке исторических фактов.

Авторы, названные выше и представляющие три остальные вершины своеобразного квадрата, определявшего историческое сознание России XVIII – начала XIX в., раскрывали свои представления об устройстве власти в публицистике. Ломоносов публицистики не писал. В его случае именно литература, точнее, поэзия была не только возможностью выразить свое отношение к монаршим особам, но и обозначить важные для него позиции в характеристике целей, задач и форм проявления власти.

Жанр *торжественной* оды, в котором Ломоносов достиг вершин отечественной словесности и безусловного признания коллег и покровителей, требовал соотнесения событий современности с великими свершениями прошлого и деяниями предков. Торжественные оды писали к определенной дате, связанной или с военными победами, или с главными государственными праздниками, к числу которых в XVIII в. относились четыре ежегодных царских дня (день восшествия на престол, день коронации, день тезоименитства и день рождения царствующей особы), а также дни рождения и кончины членов царской семьи [1. С. 7]. Будучи одами «похвальными», они создавались в первую очередь для «прославления» монарха, приобретая «статус официального культурного факта» [2. С. 96], а значит, документа, фиксирующего для общества властные интенции.

Смысл «торжественной» оды, традиции которой были заложены Пиндаром в V в. до н.э., заключался в «канонизации» исторического действия, происходившего на глазах поэта, в переводе настоящего в вечное [3]. Тем самым автор оды, самостоятельно решавший, что заслуживает вечности, а что – нет, обладал властью «легитимации смыслов» через называние события, поступка, персонажа и рассказ о нем (нарратив) [4. С. 79–92]. Эту функцию одической поэзии Е.А. Погосян назвала «политической эмоцией», в которой фиксируется, как «то или иное политическое событие должно было быть пережито подданными российского монарха» [5]. Поступки государя, воспетые в оде, воспринимаются как правильное (легитимное) властное поведение. Вставая в позу исторического рассказчика, автор оды терял субъектность. Ода «оказывалась выражением общего мнения; голос одического поэта оборачивался гласом народным» [2. С. 96]. Эта «пиндарическая» традиция торжественных од через посредство Плиния Младшего и значительно более близкого к рассматриваемой эпохе Ронсара была воспринята М.В. Ломоносовым из «петербургско-немецкой» поэзии Юнкера и Штелина, о чем подроб-

но писал Л.В. Пумпянский [6. С. 3–44] (И.З. Серман говорил еще и о влиянии Буало [7. С. 8]). Отметим, что имя Пиндара упомянуто Ломоносовым в самой первой торжественной оде «Блаженные памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года» [8. С. 29].

Другая одическая традиция, идущая уже не от Пинадара, а от Горация, – традиция *политических* од. В ее рамках закрепляется идея служения государю и даже, в большей степени, государству. Она тоже важна для поэзии XVIII в., а для М.В. Ломоносова в особенности. Недаром его перевод «Памятника» Горация, опубликованный в 1748 г., – первый в России [9. С. 86–90]. Эта традиция требует воспринимать автора од «как вдохновенного пророка, учителя народа и выразителя самосознания нации» [10. С. 112]. Пророк, как известно, стоит и над царем, и над народом. Он тоже теряет свою субъектность, но по другой причине, нежели поэт, – его устами говорит Бог. А это значит, что пророк может произнести нечто, о чем ранее никто еще не задумывался, указать «путь», предсказать неведомые изменения, т.е., говоря современным языком, обозначить вектор развития общества.

Мы можем говорить о двойной семантике политического слова в торжественных одах XVIII в. С одной стороны, ода учит власть быть легитимной, призывает совершать поступки во благо народа, с другой – учит народ понимать власть и служить ей. При этом автору оды совсем не нужно что-либо критиковать в действиях власти, чтобы выразить свое к ней отношение. Ему вполне достаточно похвал. *Отбор* того, что следует хвалить; *обоснование* похвал и *сопряжение образов*, необходимых для выражения похвалы, составляют семантическое поле власти в поэтической речи.

Первый опыт сочинения М.В. Ломоносовым «торжественной» оды относится к 1739 г. В «Оде на взятие Хотина» главный мотив легитимации власти – это *оправдание военной победы*. Самая показательная в этом отношении двадцатая строфа оды выглядит так:

Кто скоро толь тебя, Калчак,
Учит Российской вдаться власти,
Ключи вручить в подданства знак
И большей избежать напасти?
Правдивой Аннин гнев велит,
Что падших перед ней щадит.
Ея взошли и там оливы,
Где Вислы ток, где славный Рен,

Мечем противник где смирен,
Извергли дух сердца кичливы [8. С. 27].

Слово «власть» здесь означает Российское государство, воинскими победами расширяющее свое пространство. А имя «правдивой» (в этом контексте – справедливой) Анны возникает, когда надо указать того, перед кем должны «смириться» народы после взятия русскими войсками Данцига и похода вдоль Рейна 1734 г. Славные победы русского оружия составляют «счастье» жителей России, которые теперь могут жить, «военных не страшась бед», пребывая в стране мира и покоя, «народ где Анну прославляет» (строфа 25) [8. С. 29]. Мотив оправдания победами усилен отсылкой к истории русских военных успехов. Свидетелями взятия Хотина у Ломоносова становятся государи-победители прошлых лет: Петр Первый и «смиритель стран Кавказских» Иван IV [8. С. 23].

Впоследствии этот мотив будет неоднократно использован Ломоносовым в торжественных одах. В данной оде он встречается один раз, если не считать двух строк в завершающей двадцать восьмой строфе:

Любовь России, страх врагов,
Страны полночной Героиня,
Седми пространных морь берегов
Надежда, радость и Богиня,
Велика Анна, Ты доброт
Сияешь светом и щедрот...
Прости, что раб твой к громкой славе
Звучит что крепость сил Твоих,
Придать дерзнул не красной стих
В подданства знак Твоей державе [8. С. 30].

Но «свет доброт и щедрот» в семантическом поле этой оды выглядит, скорее, как надежда на награды (как победителям, так и автору, победы прославляющему), чем характеристика власти императрицы Анны.

В одах 1841 г., написанных в период номинального правления Ивана VI Антоновича, мотив оправдания власти победами звучит столь же сильно. В оде на день рождения императора (12 августа) он выглядит как обещание новых побед:

Целую Ручки, что к державе
Природа мудра в свет дала,

Которы будут в громкой славе
Мечем страшить и гнать врага [8. С. 36]

и

Господствуй, радость, ты едина
Над Властью толь широких стран.
Но, мышлю, придет лишь година,
Познаешь как, что враг попран
Твоих удачами славных Дедов... [8. С. 37].

В оде, озаглавленной «Первые трофеи его величества Иоанна III, императора и самодержца всероссийского, чрез преславную над шведами победу августа 23 дня 1741 года», этот мотив переведен из будущего в настоящее время:

Российских войск хвала растет,
Сердца продерски страх трясет,
Младой Орел уж льва терзает;
Преж нежел ждали, слышим вдруг
Победы знак, палящий звук.
Россия вновь трофей вздымает
В другой на Финских раз полях [8. С. 43].

Но гораздо более важный, на наш взгляд, легитимационный мотив появляется в первой из этих од. Это *мотив исторической преемственности*, искусно вводимый Ломоносовым через обращение к событиям самого древнего прошлого. Отправной посыл звучит в двенадцатой строфе: «Монарх Наш – сильных двух колен» [8. С. 38], т.е. русского и германского. И поэт обращается к истории приглашения Рюрика как к главному прецеденту формирования власти и утверждения правящей династии в российской истории:

Разумной Гостомысл при смерти
Крепил Князей советом збор:
«Противных чтоб вам силу стерти,
Живите в дружбе, бойтесь ссор.
К брегам Варяжских вод сходите,
Мужей премудрых там просите,
Могли б которы править вас».
Послы мои туда сходили,
Откуда Рурик, Трувор были,
С Синавом три Князья у нас [8. С. 39].

Далее Ломоносов упоминает «славных потомков» Рюрика: Игоря и Дмитрия Донского. Здесь перед нами уникальный пример *исторического норманизма* Ломоносова. Это позже, когда история России станет предметом его пристального изучения, он выступит основоположником антинорманистского направления в исторической науке. А в 1741 г. норманизм прекрасно «укладывался» в текущие политические обстоятельства. Немец по отцу, Иоанн Антонович предстает в оде *будущим Игорем*:

Что я пою воински звуки,
Которы быть хотят потом?
Пора вздеть на небо руки,
Просить о здравье то драгом,
Чего Иоанну я желаю [8. С. 40–41].

И здесь уместно вновь обратиться к семантике власти и собственно термину «власть», используемому Ломоносовым в торжественных одах. Если в первой оде 1741 г. термин «Власть» (с заглавной буквы) – синоним слова «держава» (т.е. правление), то во второй оде власть (со строчной буквы) – это страна, Россия: «Смотри, тяжка коль Шведов страсть, / Коль им страшна Российска власть» [8. С. 46]. Собственно говоря, термин «власть» в первых одах Ломоносова практически невозможно отделить от термина «держава», трактуемого и как государство, и как страна. Кроме того, термины «власть» и «держава» могут обозначать и *правление* в стране. Правда, это последнее значение выражено крайне слабо, поскольку смысл слова «власть» в одах этих лет обращен вовне страны, на ее противников. И главным легитимирующим власть мотивом остается обращение к прошлым, настоящим и будущим военным победам.

Со вступлением на престол императрицы Елизаветы Петровны М.В. Ломоносов получил преимущественное (если не использовать слово «исключительное») право на написание и представление «торжественных» од. За все 1740-е гг. известны только три оды такого типа, написанные не Ломоносовым [1. С. 203]. По сути, только ему одному было предоставлено право выражать общественное мнение (в том виде, как его понимали в середине XVIII в.). И он, не отказываясь от «воспевания» побед, находит новые мотивы «оправдания власти».

В первой же оде, представленной по случаю восшествия Елизаветы на престол, соединенного с днем рождения императрицы

(18 декабря 1841 г.), М.В. Ломоносов предлагает трехсоставную формулу обоснования прав дочери Петра I на престол:

Достойна на престол вступи,
К присяге мы готовы вси.
Отдай красу Российску трону
По крови, правам и закону [8. С. 57].

«Кровь» в этой формуле означает прямое и ближайшее родство с императором Петром I, чего, разумеется, не было ни у Анны Иоанновны, ни тем более у Ивана Антоновича. «Права» здесь, как представляется, – намек на то, что первым шагом к утверждению на престоле Анны Иоанновны было решение Верховного тайного совета, узурпация прав монаршей власти. Елизавета в данной логике не нуждается в подкреплении своих прав каким-либо государственным органом, она обладает ими изначально.

Вместе «кровь» и «права» составляют *начала легитимности* власти Елизаветы. «Закон» же олицетворяет *легальность* этой власти. Хотя понятно, что в своей оде Ломоносов не имел в виду российское законодательство о престолонаследии, и в частности указ Петра I от 5 февраля 1722 г. Скорее, подразумевался акт присяги, к которому, по его утверждению, «готовы вси».

Мотивы обоснования власти императрицы Елизаветы Петровны, прозвучавшие в первой оде (прежде всего, мотив «крови», «родства»), потом будут много раз повторены и усилены в одах последующих. Так, уже в феврале 1742 г., в оде «На возвращение из Голштинии 10 февраля 1742 года», описано всеобщее ликование «в сие благоприятно время»:

Когда всещедрый наш Творец
Восставил нам Петрово племя
И нашей скорьби дал конец,
Уж с радостью любовь согласно
Везде ликуют безопасно.
Всего народа весел шум [8. С. 60].

Но здесь над всеми мотивами, с помощью которых утверждается власть Елизаветы, возвышается один универсальный – мотив высшей (божественной) справедливости. Понятие «всевышней власти», получаемой не от людей, а от Бога, трактуется как некое качество, которое само по себе преобразует человека, им наделенного, и дискантирует от обычных людей:

Наместница всевышней власти,
Что родом, духом и лицом
Восходит выше смертных части
Прехвальна, совершенна всем,
В которой всех даров изрядство,
С величеством цветет приятство! [8. С. 65].

Еще один важный легитимационный мотив представлен Ломоносовым в оде от 10 февраля 1742 г: «правильная» власть существует *во благо России*, и оно в полном соответствии с законами «пиндаровской» оды уже *явлено* во всех сферах жизни:

Млеком и медом напоенны,
Тучнеют влажны берега,
И, ясным солнцем освещенны,
Смеются злачные луга.
С полудни веет дух смиренный
Чрез плод земли благословенный.
Утих свирепый вихрь в морях,
Владеет тишина полями,
Спокойство царствует в градах,
И мир простерся над водами [8. С. 67].

Заявленное в одах Ломоносова понимание власти императрицы Елизаветы: а) как преемственной от Петра I; б) законной; в) находящейся под божественным покровительством и г) благотворной для России – частично воспроизведено и другими авторами. Благотворность власти Елизаветы – одна из центральных тем «Благодарственной» оды В.К. Тредиаковского (вторая половина 1740-х гг.):

Твоя жизнь наша радость;
Тобою всё цветет;
Ты здрава, нам то сладость:
Всё о тебе живет.
Храни, мы благодущны;
Вели, се мы послушны [11. С. 173].

Мотив преемственности власти от Петра I есть в оде А.П. Сумарокова «Всемилоостивейшей Государыне Императрице Елисавете Петровне, Самодержице Всероссийской, в 25 день ноября 1743»:

Взгляни в концы твоей державы,
Царица полунощных стран,

Весь Север чтит, твои уставы
До мест, что кончит океан,
До края областей безвестных,
Исполнен радостей всеместных,
Что ты Петров воздвигла прах,
Дела его возобновила
И дух его в себе вместила,
Являя свету прежний страх [12. С. 59].

Там же звучит и идея божественного покровительства власти Елизаветы ради блага России и ее народа:

О боже, восхотев прославить
Императрицу ради нас,
Вселенну рушить и восставить
Тебе в один удобно час,
Тебе судьбы суть все подвластны.
Внемли вопящих вопль согласный –
Перемени днесь естество,
Умножь сея девицы леты,
Яви во днях Елисаветы,
Колико может божество [12. С. 63].

Ответом на это обращение к Божественному провидению выглядит фрагмент из оды Ломоносова «На прибытие Ея Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации». Здесь звучит прямая речь Господа:

«Благословенна вечно буди, –
Вещает Ветхий деньми к Ней, –
И все твои с тобою люди,
Что вверил власти Я Твоей.
Твои любезныя доброты
Влекут к себе Мои щедроты.
Я в гнев Россам был Творец,
Но ныне паки им Отец:
Души Твоей кротчайшей сила
Мой гнев на кротость преложила
...
Мой образ чтят в Тебе народы
И от Меня влиянный дух;
В бесчисленны промчится роды

Доброт Твоих неложный слух.
Тобой поставлю суд правдивый,
Тобой сотру сердца кичливы,
Тобой Я буду злость казнить,
Тобой заслугам мзду дарить;
Господствуй, утверждена Мною;
Я буду навсегда с Тобою» [8. С. 84–85].

Здесь же, впервые в торжественной оде, Ломоносов пишет о том, что *должна делать* Елизавета, будучи правительницей России¹. Ключевая фраза: «Тобой поставлю суд правдивый». Остальные положения являются производными от нее. Для первой попытки рассказать императрице, что ей надо делать как властному лицу, это самое подходящее положение, поскольку оно очень точно вписывается в общехристианское (библейское) представление о том, для чего нужна власть. Правда, Библия не знает «правдивого суда». В ее текстах используется другое выражение: «праведный суд», опирающееся на фрагмент из Второзакония: «Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом праведным» (*Втор. 16; 18*). Праведный (он же «справедливый») суд – безусловное качество христианской «правильной власти» («И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его». *Втор. 1; 16*). Соответственно, высказывая это пожелание, Ломоносов ничем не рисковал и в то же время пусть осторожно, но примеривался к роли «пророка», что и полагалось автору од не только «торжественных», но и «политических». В последующих одах он, не забывая о восхвалениях, постепенно расширял возможности высказывать пожелания власти.

В середине 1740-х гг. в «похвальных» одах Ломоносова складывается жесткая конструкция «оправдания власти». В качестве неизменных элементов в ней выступают два легитимационных мотива и две главные характеристики власти. Первый и самый крупный по объему текста (и смысла) легитимационный мотив – это характеристика власти Елизаветы как прямого продолжения правления ее отца Петра I. Власть Петра подается как абсолютное благо для России.

¹ Речь идет об оригинальном творчестве. До этого в переводе оды Ф.В. Юнкера на коронацию Елизаветы была сформулирована целая программа правления только что вступившей на престол императрицы. Но чтобы ответить на вопрос, в какой мере эта программа соотносится со взглядами самого Ломоносова, необходимо отдельное исследование.

Все черты петровского правления от внешних побед до покровительства наукам и ремеслам являют собой в одах Ломоносова непрерывную череду подвигов, создавших «славу» страны. Более того, поскольку до 1752 г. в одах Ломоносова, посвящённых Елизавете или Петру III, не упомянут никто из тех, кто правил Россией до Петра I, петровская эпоха воплощает отчетливую точку отсчета новой российской истории, а императорская власть существует сама по себе, вне связи с ней. Такое понимание очень близко к утверждаемому самим Петром I культурному разрыву с византийской властной традицией и переориентацией на традицию Рима [13. С. 48–49].

Второй легитимационный мотив – божественное покровительство Елизавете: «Когда на трон Она вступила, / Как Вышний подал Ей венец» [8. С. 198]. Прямое покровительство божественных сил или «неба», «небес» у Ломоносова служит синонимом божественной власти российской императрицы («К нам щедро небо преклонилось, / И щастье наше обновилось: / На трон взошла Петрова Дщерь» [8. С. 139]). Как справедливо отметила Е.А. Погосян, применительно к одам Ломоносова 1750-х гг., «главная функция монарха — осуществление “контакта с небесами”, и именно эта функция определяет тип отношений монархини и подданных» [5].

Два этих мотива (земной «славы» и «небесного» покровительства) взятые вместе, составляют одну мысль: божественная воля состоит в том, чтобы Россией правил прямой потомок Петра, который будет править так, как правил Петр, и проводить его политику его же методами. В характеристике власти Елизаветы Петровны первое место отводится ее «славе», т.е. военным победам или (вариант, обозначенный в оде 1842 г. и набирающий силу в одах середины 1740-х гг.) могуществу России, наслаждающейся заслуженным миром:

Елисавета к вам приходит,
Отраду с тишиной приводит;
Любя вселенныя покой,
Уже простертой вам рукой
Дарует мирные оливы,
Щадить велит луга и нивы [8. С. 93].

Все более важное место в характеристике власти Елизаветы второй половины 1740-х гг. занимает та функция государя, которая может быть обозначена как справедливый или «праведный» суд:

Священны да хранят уставы
И правду на суде судьи,

И время Твоя держава
Да убожат рабы Твои [8. С. 216].

Вместе эти две приметы власти («слава» и «праведный суд») составляют «щастие» России и ее народов, как это явлено в оде 1746 г. «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийския»:

Коль наша радость справедлива!
Нас красит сладостный покой;
О коль, Россия, ты щастлива
Елисаветиною рукой! [8. С. 143].

Или в надписи на иллюминацию 1751 г.:

Веселием сердца год новый оживляет
И ново щастие в России утверждает.
Довольство, здравие и щастие цветет,
Где светит именем своим Елисавет.
Россия веселясь блажит ея державу,
Что каждый год свою растущу видит славу [8. С. 410].

При всей неизменности этой легитимно-функциональной конструкции власти, раз за разом повторяемой Ломоносовым в похвальных одах и различного рода торжественных надписях, она могла быть дополнена еще одним элементом «щастья». Например, как в оде 1746 г., отторжением иноземцев от престола:

Взирая на дела Петровы,
На град, на флот и на полки
И купно на свои оковы,
На сильну власть чужой руки,
Россия ревностно вздыхала
И сердцем всякой час зывала
К Тебе, Защитнице своей:
«Избавь, низвергни наше бремя,
Воздвигни нам Петрово Племя,
Утешь, утешь Твоих людей

Покрой Отчески законы,
Полки противных отжени
И святости Твоей Короны
Чужим коснуться возбрани;

От церкви отвори наложи:
Тебя Монарши ждут чертоги,
Порфира, Скипетр и Престол;
Всевышний пойдет пред Тобою
И крепкою Тебя рукою
От страшных всех защитит зол» [8. С. 138–139].

Но это единичный случай. Более важная, на наш взгляд, черта од Ломоносова, ставшая заметной в середине – второй половине 1840-х гг., – это указание на главную составляющую «щастья» России – развитие наук (в поэтической речи – муз). Наиболее ярко эта тенденция проявилась в самой знаменитой оде Ломоносова: «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года»:

Великая Петрова Дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство Муз усугубляет
И к щастью отверзает дверь.

...

Сия Тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная Твоя держава
О как Тебе благодарит!
Возри на горы превысоки,
Возри в поля Свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет:
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью Твоей цветет [8. С. 202–203].

К началу 1750-х гг. мотив покровительства наукам как третья составляющая «щастья» России и важнейшая функция императорской власти прочно утверждается в торжественно-поэтической речи Ломоносова, а сама легитимационно-функциональная конструкция «оправдания власти» приобретает, казалось бы, заверченный вид. Но именно в 40-е гг. XVIII в. благодаря усердным занятиям и сотрудничеству с В.Н. Татищевым Ломоносов становится одним из крупных знатоков российской истории. Историческое мышление «вторгается» в его поэзию. Ломоносов начинает изменять, если не сказать ломать, им же созданную конструкцию, вводя в нее элементы легитимности допетровских эпох.

Первый раз эту новую, если не считать «норманистской» оды Ивану Антоновичу, конструкцию мы находим в его «Похвальном слове» императрице Елизавете 1749 г. Здесь Ломоносов вводит новый легитимационный мотив героических деяний предков государыни. Теперь ее «достоинства» не только продукт «воли небес», но и прямое продолжение достоинств ее предшественников во власти. Ключевое положение этого нового мотива выглядит следующим образом: «Изо всех достоинств Монархини наша показуется, коль велики были Ея предки, которыми оживленная, восставленная, укрепленная, возвеличенная, просвещенная Россия ныне над всеми земными царствами главу свою возносит, которых славные дела и заслуги к отечеству неменьше надлежат к похвале Ея Величества, нежели кровь оных к Ея рождению послужила» [8. С. 240].

В 1749 г. Ломоносов был готов вести отчет «великих дел» от основателя династии Романовых Михаила Федоровича, «обновляющего рассыпанные стены, сооружающего разоренные храмы, собирающего расточенных граждан, наполняющего расхищенные государственные сокровища, исторгающего корень богоотступных хищников Российского престола и Москву от жестокого поражения и глубоких ран исцеляющего» [8. С. 240]. Далее следуют дела Алексея Михайловича, «утверждающего благополучие подданных спасительными законами, полки военною наукою, церковь истреблением ереси, простирающего победоносный меч свой на Сармацию и России издревле принадлежащая великия княжества праведным оружием России возвращающего» [8. С. 240]. И затем переходит к деяниям Петра I и его супруги Екатерины. Тем самым в концепцию императорской легитимности был введен историко-героический мотив преемственности «великих деяний».

В оде 1752 г. возможности историко-героического обоснования власти государыни были расширены на всю историю России, правда, под специфическим углом зрения, который сейчас именуются «гендерным подходом» в исторических исследованиях. В оде «На торжественный день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны ноября 25 дня 1752 года» Ломоносов называет тех женщин, которые «Явили мужеско геройство / Чрез славные свои дела» [8. С. 503]. Он начинается с княгини Ольги, указывая на ее великие качества («Премудрость, храбрость и святыня»), затем называет Елену Глинскую – «великую

делами мать», затем мать Петра I – Наталью Нарышкину и, конечно, Екатерину I, «участницу великих дел» ее супруга.

В обновленной конструкции легитимности власти 1750-х гг. «великие» или «славные» дела по-прежнему находятся в центре. Именно их величие служит «оправданием» власти и легитимизирует ее носителей вместе с божественным покровительством России и правителю, ее олицетворяющему. Но точка отсчета теперь сдвинута от начала XVIII века к веку X и распространяется на всю историю России, что закреплено в оде «На рождение Его Императорского Высочества Государя Великого Князя Павла Петровича сентября 20 1754 года»:

О Боже, крепкий Вседержитель
Пределов Росских расширитель,
Коль милостив бывал ты нам!
Чрез семь сот лет едино племя
Ты с Росским скиптром сохранил [8. С. 564].

Показательно, что Ломоносов называет семь, а не восемь сотен лет правления на Руси, т.е. ведет отсчет не от Рюрика и даже не от Игоря Старого, а именно от Ольги. Конечно, можно заметить, что в данной конструкции фразы «восемь сот» не попадают в размер, но для поэта это не может быть препятствием. Легкая переделка строки: «Лет восемь сот едино племя» – и задача решается. Значит, для Ломоносова точка отсчета принципиальна. Обратимся вновь к оде, в которой история впервые была использована поэтом в качестве легитимационного мотива. Это ода «Первые трофеи его величества Иоанна III». Иоанн Антонович на три четверти немец, для него выбирается в качестве точки отсчета «варяг» Рюрик. Позже занятие Ломоносова историей и разработка антинорманистской концепции происхождения государства на Руси приводят его к другой точке отсчета – Ольге, которую в «Родословии российских государей» Ломоносов называет псковитянкой и, «по мнению некоторых», правнучкой Гостомысла [14. С. 150]. «Немцы» Рюрик и Игорь отвергнуты. Образцом для «русской» Елизаветы должна служить «русская» Ольга.

В 1750-е гг. историко-героический легитимационный мотив становится одним из трех равноправных, наряду с наследием Петра I и божественным благословением. А в начале 1760-х гг., особенно в оде «Ея Императорскому Величеству Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне Императрице Екатерине Алексеевне, Самодержице Всероссийской, на преславное Ея восшествие на все-

российский императорский престол июня 28 дня 1762 года», он отчетливо выходит на первый план. Причем в рамках этого мотива возникает несколько новых тематических планов, и легитимность Екатерины получает дополнительное обоснование.

Во-первых, Петр III, ликвидировавший все результаты побед русских войск в Семилетней войне, не герой. А Екатерина не только выказывает героические черты характера («премудрая Героиня» [8. С. 775]), но и окружена «избраннейшими героями» [8. С. 776].

Во-вторых, преемственность власти от Петра I определяется у Ломоносова не по кровному родству («Не предадим Твоей любви, / Не пощадим последней крови» [8. С. 775]), а по родству духовному. Екатерина II – наследница великих дел Екатерины I и Елизаветы Петровны и тем «сердца влечет» [8. С. 776]. Герой на троне нужен России и, следовательно, он торжествует над не героем:

Теперь злоумышление в яме,
За гордость свержено, лежит:
Екатерина в Божьем храме
С благоговением стоит [8. С. 777–778].

В-третьих, и это, на наш взгляд, самое важное, историко-героическая трактовка распространяется теперь не только на правителей, но и на весь народ:

Исчислите у нас Героев
От земледельца до Царя,
В суде, в полках, в морях и в селлах,
В своих и на чужих пределах
И у святаго олтаря [8. С. 779–780].

А раз так – легитимность правителя определяется героической симфонией царя и народа:

О коль Монарх благополучен,
Кто знает Россами владеть!
Он будет в свете славой звучен
И всех сердца в руке иметь [8. С. 780].

Термина «симфония», применяемого в Византии и России XVII в. для описания взаимодействия во власти царя и церкви, в оде, разумеется, нет. Но не вспомнить о нем нельзя, поскольку там есть такие строки:

...любите веру:
Она – свирепости узда,
Сердца народов сопрягает
И вам их верно покоряет,
Твердее всякого щита [8. С. 778].

Здесь отчетливо читается мотив единства монарха и народа, базирующийся на общей вере. Этот легитимационный мотив потом возродит Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» и обессмертит своей формулой «православие, самодержавие, народность» С.С. Уваров. Мотив «единства правителя и народа» теперь вытесняет прежде мощно звучавший у Ломоносова мотив «щастья» народа под «державой» царя. И поэтому совсем не случайны в той же оде такие строки:

Услышьте, Судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святыя
От буйности блюдитесь вы
И подданных не презирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу,
То Бог благословит ваш дом [8. С. 778].

Ю.Н. Алексеева отметила, что в этих строках Ломоносов формулирует «концепцию власти, основанной не на праве, а на заслуге, и требует от Екатерины заслуг перед Россией, способных оправдать ее шаг» [1. С. 182]. С первым положением, безусловно, нужно соглашаться. Героическое начало власти ведет к накоплению суммы заслуг. А совокупность заслуг, по Ломоносову, служит прочным ее основанием. Но мог ли Ломоносов «требовать» этих заслуг? Если соглашаться, то с оговоркой, что это не характеристика отношений Ломоносова и Екатерины II (здесь слово «требовать» немыслимо), а жанрово обусловленный прием торжественной речи. И наконец, выбранный фрагмент никак не требование заслуг (скорее, можно говорить обо всем содержании оды, которое представляет набор ожиданий героической судьбы Екатерины как правительницы), а стилизация под речь псалмопевца. То есть это наставление, но данное в максимально обезличенной форме (с коннотацией: поэт – пророк), с использованием не только семантики псалмов, но и их лексики:

«судьи земные» (*Пс. 2 и 148*), «блжости (соблюдать) законы» (*Пс. 104*), «не презирать» страждущих (*Пс. 21.*), беспомощных (*Пс. 101*), «правда», «милость» и «щедроты» (в Псалмах – только божественные или Им даруемые, за исключением «правды» в *Пс. 111*).

Отметим здесь мысль М. Левитта: «...оды, сознательно возводившиеся к псалмической модели, стали важнейшим жанром литературы XVIII в. суть в том, что жанр торжественной оды был питаем сильнейшим источником культурной памяти, и его основные формальные установки отсылали к фундаментальным свойствам русской традиции...» [15. С. 373]. Важно и то, что псалмопевческая семантика, архаичная по своей природе, в отмеченном выше фрагменте искусно переплетена с самой актуальной для XVIII в. тематикой просвещённой монархии: « пороки исправляйте», «ученье» «народна льгота» (те самые «польза» и «пример», о значении которых в панегирическом творчестве Ломоносова 1760-х гг. подробно писала Е.А. Погосян [5. С. 19–97]). Это должно было польстить Екатерине, стремившейся в начале своего царствования к одновременному решению двух задач: стать для России своей, что в первую очередь значит православной, и выполнить миссию «просвещённого монарха» в «вольтеровском» понимании этого термина. Самому же Ломоносову поддержка деяний Екатерины в решении этих двух задач давала возможность занять двойную позицию: с одной стороны, архаического (или классицистического) «пророка», вещающего от имени народа, с другой – мыслителя, утверждающего научную истину.

Итак, мы видим, что семантическое поле власти в одах М.В. Ломоносова постоянно менялось как под действием «внешних» для него факторов, прежде всего личности каждого нового монарха, так и факторов «внутренних». Становясь старше, искусней и опытней, он ощущал в себе силы и право перейти от восхвалений к наставлению. Профессионально занимаясь древней российской историей, он находил в ней все новые и новые примеры для подтверждения той концепции власти, которая у него сложилась в полном виде в середине – второй половине 1740-х гг. В ней три ключевых элемента: верность образу Петра-преобразователя; понимание блага России как ее силы, которую дают военные победы, но в еще большей степени – развитие наук; третий элемент – героическое поведение монарха, его личные подвиги, преобразующие Россию, и поддержка тех, кто готов такие подвиги совершать. В военное время подобный героизм очевиден и понятен, он ведет к победам. А в мирное время

это подвиг, совершаемый в науках и управлении. Венчает данную конструкцию божественное благословение, посылаемое достойному того правителю, благословение, очевидное для всех, но более всего – для автора похвальных и торжественных од.

Литература

1. Алексеева Н.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII в. СПб.: Наука, 2005. 369 с.
2. Бухаркин П.Е. М.В. Ломоносов в истории русского слова. СПб.: Нестор-История, 2011. 172 с.
3. Гаспаров М.Л. Поэзия Пиндара // Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты / изд. подгот. М.Л. Гаспаров. М., 1980. С. 361–383.
4. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.
5. Погосян Е.А. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997. 158 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/document/534639.html#p.3> (дата обращения: 09.10.2015).
6. Пумпянский Л.В. Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Сб. 14. Русская литература XVIII – начала XIX века в общественно-культурном контексте. Л., 1983. С. 3–44.
7. Серман И.З. Оды Ломоносова и поэтика школьной драмы // XVIII век. Сб. 24. СПб., 2006. С. 4–14.
8. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. 8. 1279 с.
9. Мусорина Л.А. Оды, III 30: Подражания тридцатой Оде Горация в русской литературе // Наука. Университет: материалы 1-й науч. конф. Новосибирск, 2000. С. 86–90.
10. Салова С.А. Утро русской анакреотики: А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков. М.: Макс Пресс, 2005. 262 с.
11. Тредиаковский В.К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозой. М.: Наука, 2009. 676 с.
12. Сумароков А.П. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. 608 с.
13. Успенский Б.А. Царь и император. Помазание на царство и семантика царских титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. 144 с.
14. Ломоносов М.В. Записки по русской истории. М.: Директмедиа Паблишинг, 2005.
15. Левитт М. Ода как откровение: православный богословский контекст одической поэзии Ломоносова // Славянский альманах. 2003. М., 2004. С. 368–384.

«RULE AND HAVE ALL POWER OVER HAPPINESS»: THE SEMANTICS OF STATE POWER IN LOMONOSOV'S SOLEMN ODES

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 4–25. DOI: 10.17223/24099554/7/1

Konstantin A. Solovyev, Moscow State University (Moscow, Russian Federation).

E-mail: Solovka-05@yandex.ru

Keywords: Russian Empire, 18th century, Lomonosov, solemn ode, semantics of power.

The genre “solemn ode” demanded correlating events of modernity with great dates of the past and deeds of the ancestors. The solemn ode were written for a certain date, associated either with military victories or major public holidays. “Praisful” odes were created for the “glorification” of the monarch, and acquired the status of a document fixing the power intention in society. Solemn odes have a dual semantics. On the one hand, they teach the power to be legitimate. On the other, they teach people to understand the power and serve it.

The first experience of Lomonosov’s “solemn” ode dates back to 1739. The word “power” in his first odes refers to the Russian state and its military victories.

A new motif appears in Lomonosov’s historical odes of the 1740s, that of the historical succession of power: from the ancient princes to Peter I, and from him to the contemporary monarchs.

With the accession to the throne of Empress Elizabeth, Lomonosov received a preferential right to write and present “solemn” odes. In these odes the legitimization of power is realised through an appeal to “tradition”, “right” and “universal (divine) justice”. In addition, an important part of “justification of power” is a statement that the power of Elizabeth is “beneficial” for the country. Odes by Sumarokov and Trediakovsky express similar views. But their odes are secondary to Lomonosov’s.

At the end of the 1740s Lomonosov odes introduce an important legitimating motive: “happiness” of the country ruled by the Empress. “Happiness” refers not only to well-being, but also to development. An important part of this “happiness” is the monarch’s patronage over science and education.

The semantic field of power in Lomonosov’s odes constantly changes under the influence of external and internal factors. Becoming older and more experienced he felt the strength (and inner right) to go from praise to instruction.

Lomonosov finds examples in history to prove the concept of power he has developed in the middle – the second half of the 1740s viable. This concept has three key elements: the continuation of the policy of Peter I; a good understanding of Russia as its strength resulting from its military victories and the development of science; the heroic behaviour of the monarch, his/her personal exploits. In wartime such heroism leads to victory, in times of peace to a feat in sciences and management. The concept is crowned with God’s blessing of a worthy ruler. This blessing is obvious to all, but in the first place to the author of the praiseful and solemn odes.

References

1. Alekseeva, N.Yu. (2005) *Russkaya oda. Razvitie odicheskoy formy v XVII – XVIII vekakh* [Russian ode. Development of the ode form in the 17th– 18th centuries]. St. Petersburg: Nauka.
2. Bukharkin, P.E. (2011) *M.V. Lomonosov v istorii russkogo slova* [M.V. Lomonosov in the history of the Russian word]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya.
3. Gasparov, M.L. (1980) Poeziya Pindara [Poetry of Pindar]. In: Gasparov, M.L. (ed.) *Pindar, Vakkhiliid. Ody. Fragmenty* [Pindar, Bacchylides. Odes. Fragments]. Moscow: Nauka.
4. Lyotard, J.-F. (1998) *Sostoyaniye postmoderna* [The state of postmodernity]. St. Petersburg: Aleteyya.
5. Pogosyan, E.A. (1997) *Vostorg russkoy ody i reshenie temy poeta v russkom pane-girike 1730–1762 gg.* [Delight of the Russian ode and solution of the theme of the poet in

the Russian panegyric of 1730–1762]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. [Online] Available from: <http://www.ruthenia.ru/document/534639.html#p.3>. (Accessed: 09th October 2015).

6. Pumpyanskiy, L.V. (1983) Lomonosov i nemetskaya shkola razuma [Lomonosov and the German school of reason]. In: Kochetkova, N.D. *XVIII vek* [18th century]. Vol. 14. Leningrad: Nauka. pp. 3–44.

7. Serman, I.Z. (2006) Ody Lomonosova i poetika shkol'noy dramy [Odes by Lomonosov and the poetics of the school drama]. In: Kochetkova, N.D. *XVIII vek* [18th century]. Vol. 24. Leningrad: Nauka. pp. 4–14.

8. Lomonosov, M.V. (1959) *Polnoe sobranie sochineniy: v 10 t.* [Complete Works: in 10 vols]. Vol. 8. Moscow; Leningrad: USSR AS.

9. Musorina, L.A. (2000) [Odes, III 30: Imitations of the thirtieth Ode of Horace in Russian literature]. *Nauka. Universitet* [Science. University]. Proceedings of the First Conference. Novosibirsk: Novyy sibirskiy universitet. pp. 86–90. (In Russian).

10. Salova, S.A. (2005) *Utro russkoy anakreotiki: A.D. Kantemir, M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov* [The Dawn of the Russian Anacreotics: A.D. Cantemir, M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov]. Moscow: Maks Press.

11. Trediakovskiy, V.K. (2009) *Sochineniya i perevody kak stikhami, tak i prozoyu* [Works and translations both in verse and in prose]. Moscow: Nauka.

12. Sumarokov, A.P. (1957) *Stikhotvoreniya* [Poems]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.

13. Uspenskiy, B.A. (2000) *Tsar' i imperator. Pomazanie na tsarstvo i semantika tsarskikh titulov* [The Tsar and the Emperor. The unction on the tsardom and the semantics of the tsar's titles]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

14. Lomonosov, M.V. (2005) *Zapiski po russkoy istorii* [Notes on Russian history]. Moscow: Direktmedia Publishing.

15. Levitte, M. (2004) Oda kak otkrovenie: pravoslavnyy bogoslovskiy kontekst odicheskoy poezii Lomonosova [Ode as a revelation: Orthodox theological context of the Odomatic poetry of Lomonosov]. In: *Slavyanskiy al'manakh. 2003* [Slavic Almanac. 2003]. Moscow: Indrik. pp. 368–384.

Ю.Е. Пушкарёва

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕКСТ В КРИТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И ПЕРЕПИСКЕ И.В. КИРЕЕВСКОГО

В статье рассматривается итальянский текст, воплощённый в наследии И.В. Киреевского – в его философских, публицистических, критических статьях, а также в письмах из заграничного путешествия. Освещена роль Италии как особого исторического пространства и как феномена культуры, который соотносится Киреевским с духовным пространством Европы и России. Выделены две линии воплощения итальянского текста – эстетическая и историософская; в них отразилась траектория развития Киреевского-мыслителя – от любомудрия и русско-европейского культурного диалога к радикальному славянофильству.

Ключевые слова: любомудры, И.В. Киреевский, итальянский текст, культурный диалог, славянофильство.

В философском, публицистическом и художественном наследии авторов-любомудров (В.Ф. Одоевского, Д.В. Вeneвитинова, С.П. Шевырёва, М.П. Погодина, а также близких к ним Н.Ф. Павлова и княгини Зинаиды Волконской) важное место занимает итальянский текст. Темы, образы, мотивы Италии пронизывают творчество «архивных юношей» и позволяют говорить о новом этапе культурного диалога между Россией и Европой, открытом ими. Любомудры расставили новые акценты в итальянском тексте, с которым до них русская культура мало соприкасалась (по сравнению с русско-французским, русско-немецким, русско-английским). Они представили Италию и как реальное пространство, культурный феномен (повести Погодина и Павлова, путевые дневники и лирика Шевырёва), и как феномен философский (под влиянием учения Шеллинга и творчества немецких романтиков – прежде всего в прозе Одоевского), и как личностный неповторимый опыт, насыщенный психологизмом (как у Шевырёва), а иногда и драматизмом (у Вeneвитинова).

Своеобразное преломление итальянский текст получил и в наследии Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856) – философа, критика, писателя и журналиста. Хотя его имя чаще ассоциируется со славянофильством и историософскими вопросами, чем с шеллингианством и романтизмом, но в молодости он состоял в Обществе любомудрия, разделяя его взгляды. Мирозозрение Киреевского,

отразившееся в его критических и философских статьях, обозрениях, дневниках и письмах, с годами претерпело эволюцию, созвучную поискам Шевырёва и Погодина. Этот путь – от любомудрия к славянофильству, от философского просветительства к религиозным исканиям – проследил и показал Ю.В. Манн [1. С. 7–39]. Однако мнения позднего Киреевского не противоречат его юношеским построениям, скорее, он по-новому осветил их. Его идеи о мировом развитии и о месте в нём России, о роли религии в культуре, личной и общественной нравственности, о закономерностях современного литературного процесса формируют глубокую, сложившуюся концепцию.

Как любомудра Ивана Васильевича интересовали вопросы познания, философии искусства (статьи «Речь Шеллинга», «Обозрение современного состояния литературы»), европейского и русского просвещения («Девятнадцатый век», «О русских писательницах»). Вне зависимости от жизненного этапа эти темы остаются центральными в его сочинениях – несмотря на то, что, как заметил Ю.В. Манн, Киреевский всё дальше отходит от художественного материала и текстового анализа, углубляясь в философию и публицистику. Но «это самоограничение <...> сознательное; оно происходит из понимания Киреевским общей идеологической и художественной ситуации» [1. С. 32], которая требовала именно философского, логического осмысления. Можно сказать, что критик сохранил главную черту любомудров – отношение к мысли и работе с ней как к чистому наслаждению, которое не привязано к материальной выгоде или политическим обстоятельствам. Как отметил Д.В. Долгушин: «В философии любомудры искали, как и в поэзии, – наслаждения, а не ответа на «смыслжизненные» вопросы» [2. С. 55].

Тем не менее по поздним текстам Киреевского трудно предположить, что он был близким другом Веневитинова, Погодина, Кошелева, а также совершил в юности образовательное путешествие за границу и по приезде начал издавать журнал с характерным названием «Европеец». Журнал, как и «Московский вестник», носил просветительский характер, должен был представлять художественную словесность и её критику на философском, научном фоне эпохи. Однако власти увидели в «Европейце» прежде всего политическую составляющую, поэтому журнал был закрыт. Хотя это стало серьёзным ударом для Киреевского, он до конца жизни не прекращал писать и

публиковал статьи в других изданиях (в первую очередь – в славянофильском «Москвитянине»).

Деятельность Киреевского во многом предопределили его происхождение и атмосфера в семье: образованный отец-филантроп, мать (Авдотья Петровна Юшкова, во втором замужестве – Елагина) – двоюродная сестра и подруга В.А. Жуковского, известная переводчица (в том числе с итальянского). Жуковский не только был родственником и другом матери Ивана Васильевича, но и стал наставником её детей, лично следил за их воспитанием [2. С. 33–43].

Именно Жуковский представил Киреевскому план его заграничного путешествия, которое должно было охватить Германию, Францию, Англию, Швейцарию, Италию, Грецию и завершиться югом России [2. С. 58]. Ведущая роль при этом, конечно, отводилась Германии, в частности Берлину как философскому и образовательному центру Европы. Однако вместо нескольких лет путешествие продлилось несколько месяцев и ограничилось Германией: эпидемия холеры, разразившаяся в России в 1830 г., заставила Ивана Васильевича вместе с братом Петром вернуться к семье. Нравственный долг был выполнен, но от поездки осталось чувство незаконченности и разочарования; несмотря на лекции Гегеля, Шлейермахера, историка Раумера, а также особенно впечатлившего географа Риттера (из писем матери: *Один час перед его кафедрой полезнее целого года одинокого чтения <...> Каждое слово его дельно, каждое соображение ново* [3. С. 341], впечатления Киреевского пронизаны скепсисом, под которым, на наш взгляд, ощутима боль от утраченных возможностей. Так, характерны его ироничные отклики о Гегеле (*Говорит он несносно, кашляет почти на каждом слове <...> и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает последнюю [букву]* [3. С. 341]) и о немецком театре (*Всё истинное, простое, естественное не замечено <...> чем напыщенное стих, тем больше он восхищает публику <...>* [3. С. 342]).

Однако эта критика не становится всеобъемлющей: Европа на тот момент ещё остаётся для Киреевского авторитетом в вопросах просвещения. Это показывает, в частности, то, как в его письма 1830-х гг. входит Италия – обычно имплицитно, в виде намёков, общих рассуждений или планов на дальнюю перспективу. Так, в Германии он читает итальянскую литературу, причём с однозначно позитивной оценкой (из письма А.П. Елагиной: *Я... читаю Ариоста и совсем тонул в его грациозном воображении, которое так же глубоко,*

тепло и чувственно, как итальянское небо. Тассу я также только теперь узнал цену [4. С. 355]). Как видим, романтическому образу Италии сопутствуют искусство, природная и эстетическая красота. Важна и собственно литературная рецепция: как и другие любомудры, Киреевский особенно выделяет эпоху Ренессанса в итальянской культуре, её ключевые имена. Не менее значима категория *грациозного воображения*, которая, видимо, в сознании Киреевского была ключевой характеристикой итальянской культуры и Италии вообще (ниже мы увидим это, обратившись к статье «Нечто о характере поэзии Пушкина»). Образ *итальянского неба* как природного, жизненного фона, который обеспечивает душевную гармонию и вдохновение, развёртывается в письмах неоднократно (из другого письма матери: *В Италию больше картин и статуй привлекает меня небо. Южное небо надобно видеть, чтобы понять и южную поэзию, и мифологию древних, и власть природы над человеком* [5. С. 352]).

Кроме подобных натурфилософских размышлений, в письмах с Италией связываются собственно эстетические вопросы, например рецепция произведений искусства, которой все любомудры уделяли много внимания. Идеальный, романтический образ «южного неба» в трактовке Киреевского вдруг оказывается весьма эмпиричным и именно поэтому сложным для восприятия: *Это небо говорит не воображению, как северное <...> оно чувственно прекрасно, и нужно усилие, нужно напряжение, чтобы любоваться им* [5. С. 352]. Это парадоксальный вывод, важный для итальянского текста в целом: природная, пластическая красота, существующая как данность, оказывается для интеллекта современного человека менее постижимой, чем абстрактные философские конструкции. То же самое отражается в ещё более интересной ситуации с восприятием и оценкой «Мадонны» Рафаэля, которую Киреевский созерцал в Дрезденской галерее. С одной стороны, восторженное письмо брату Петру, где его впечатления сродни «распространению души Жуковского ([Мадонна] мне крепко понравилась или, лучше сказать, посердечилась <...> Эта Мадонна объяснила мне, что понять её красоту можно только одним чувством: чувством братской любви <...> Это была первая картина, которую сердце поняло без посредства воображения [6. С. 349]). С другой стороны, отклик о той же самой картине (и попутно – о полотне Корреджо) в письме матери: *Рафаэлевой Мадонны я не понял, в Корреджиевой Магдалине <...> не мог найти ничего нового* [7. С. 350]). Невозможно сказать наверняка, чем, кроме смены

настроения, был вызван такой контраст и в каком из писем автор лукавит, но мы предполагаем, что это демонстрирует ту самую сложность в рецепции и осмыслении, которую итальянское искусство представляет для рационалистического сознания. Оценка картины «мерцает», поскольку разум не готов к её постижению, привык работать не *сердцем*, а *воображением*, отвлечёнными конструкциями.

Живая красота, пробуждающая душу и связанная с истиной, а также её интуитивное постижение «сердцем» – вот с чем соотносится шедевр Рафаэля и (опосредованно) итальянское искусство в целом. Такое противопоставление «сердца» (как интуитивного, непосредственного познания, связанного с красотой и этикой) и «воображения» (как познания абстрактного, рационалистического, «мёртвого») сохранится и в статьях Киреевского, включая поздние работы. На наш взгляд, с той же антитезой связаны его оппозиции «Россия – Европа», «западное (ложное) просвещение – русское (истинное)», «католицизм (ложная религия, выродившаяся в мёртвую догму) – православие (истинная религия, которая коренится в народной жизни и собирает нацию в духовное целое)». Как мы увидим в дальнейшем, Италия в концепции Киреевского постоянно колеблется между этими полюсами. В социально-историческом, объективном аспекте она принадлежит Европе, рассудочной западной цивилизации, но в аспекте эстетики (и сопряжённого с ней «живого познания» красоты) оказывается ближе к России (а значит, в понимании автора, к истине).

Итальянский текст в критическом наследии Киреевского – достаточно сложная проблема. Хотя Италия как реальное пространство осталась для него «утраченной возможностью», невоплощённой мечтой, это не перечеркнуло её значимости в текстах статей. Но отсутствие реального, жизненного контакта продиктовало и особенности прочтения Италии Киреевским.

Во-первых, итальянский текст составляет незначительную часть его наследия и нередко вычленяется с трудом. Италия остаётся на периферии внимания Киреевского и как географическое, историческое, социальное целое (европейское государство), и как культурный феномен. Она либо включается в более широкий европейский контекст (трактруется как часть западной цивилизации, причём та часть, которая уже давно не определяет пути развития человечества), либо уступает место Германии, Англии и Франции. Аналогичные приори-

теты очевидны и у других Любомудров (кроме Шевырёва), но у Киреевского они усугубляются природой текстов: в критических и публицистических статьях русского автора Италия по понятным причинам фигурирует меньше, чем в художественной словесности.

Во-вторых, если Италия и входит в кругозор автора, то в основном на правах элемента сравнения. Обычно это происходит при осмыслении Киреевским проблем России, к которым в итоге сводится содержание почти всех его работ. Так, русская литература может соотноситься с итальянской и европейской; то же происходит с русским и итальянским типами мышления, религии, государственного устройства, исторического пути. В других случаях Италия по той же модели сравнивается с Германией, Англией и даже США (например, в статье «Обозрение современного состояния литературы»). На наш взгляд, эта особенность одного происхождения с введением «автора-посредника», которое наблюдается у Павлова и Погодина: Любомудрам обычно проще осмыслить Италию как бы «издали», по аналогии с чем-то третьим; погружение в её историю и культуру как в самостоятельную ценность для них пока не является необходимостью.

В-третьих, Киреевский снимает или сводит к минимуму почти все романтические клише, связанные с Италией в русском сознании. В её образе остаются некоторые элементы идеализации (особенно это заметно в части статьи «О русских писательницах», где Киреевский поэтично превозносит Зинаиду Волконскую и пытается объяснить её отъезд из России), но они отходят на второй план, уступая трезвой, объективной оценке. Киреевский воспринимает Италию, как и всю европейскую цивилизацию, критически, в системе плюсов и минусов. Он сохраняет многие константы образа Италии, разработанные русской мыслью: роль искусства в её развитии (прежде всего живописи, архитектуры и поэзии), особую значимость эпох Древнего Рима и Ренессанса, представления о южной природе и национальном характере (например, в «Обзрении современного состояния литературы» прямолинейно упомянута свойственная «итальянской неге» лень, в других статьях прочитывается итальянская экспрессивность). В статьях «Девятнадцатый век», «В ответ А.С. Хомякову», где Киреевский размышляет о европейском и русском Просвещении, о месте России в истории человечества, одной из важнейших констант становится итальянский католи-

цизм. Киреевский рассматривает религию как фундамент итальянской культуры, отмечает мощное влияние церкви на светскую власть и общественную жизнь в Средневековье и последствия этого в современном европейском сознании. Лейтмотивом статей, конечно, становится и сопоставление католицизма с православием как двух типов мышления и познания мира.

На наш взгляд, можно говорить о двух главных линиях, по которым развивается итальянский текст Киреевского. Условно мы обозначили их как *эстетическую* и *историософскую*: в первой Италия раскрывается в аспектах культуры, искусства, традиционной категории красоты; во второй – как государство с собственной историей, нация с собственным типом мышления, часть Европы. Образ Италии как факта *эмпирической* реальности, представленного чем-то конкретным и жизненным, в статьях отсутствует: Италия существует лишь в сознании Киреевского-мыслителя, не становясь материалом художественной проработки.

Рассмотрим первую линию. Итальянский текст в *эстетическом* аспекте возникает уже в упомянутой статье «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828), открывшей славу Киреевского-критика. Он рассматривает творчество Пушкина как развивающееся явление, разделяя его на три периода (в этом можно увидеть отголоски диалектики Гегеля). Статья стала важным этапом в осмыслении Пушкина русской критикой: Киреевский заявляет о необходимости подлинного анализа его произведений вместо субъективного восторга (*Отчего лучшие его произведения остаются неразобранными, а вместо разборов и суждений слышим мы одни пустые восклицания: «Пушкин поэт! Пушкин истинный поэт! «Онегин» поэма превосходная!* [8. С. 43]). Киреевский пытается определить специфику пушкинского таланта и, с одной стороны, вписать его в контекст европейской литературы, с другой – в контекст русской духовной жизни.

Однако первый, ранний период Киреевским обозначается как *период школы итальянско-французской* [8. С. 45]. К нему автор относит поэму «Руслан и Людмила» и раннюю лирику, выделяя характерные черты мирозерцания и поэтики молодого Пушкина: *Сладость Парни, непринуждённое и лёгкое остроумие, нежность, чистота отделки, свойственные характеру французской поэзии вообще, соединились здесь с роскошью, с избытком жизни и свободою Ариоста* [8. С. 48]. Просматривается связь с эпистолярными

отзывами Киреевского об Ариосто и Тассо. Критик обращается к романской поэзии как эталону «светлого», гармоничного образа мира, заключённого в изящную, легко воспринимаемую, «отделанную» форму. В его сознании французская и итальянская словесность оказываются родственными, но если влияние Парни просматривается в основном в форме (*остроумие, чистота отделки*), то связь с Ариосто и итальянской поэзией вписывается в содержание (*роскошь, изобилие жизни, свобода* – вспомним *грациозное воображение*, которым автор «Неистового Роланда» уже наделялся в письмах Киреевского). Эти особенности Киреевский раскрывает на примере «Руслана и Людмилы», где по творческой воле автора создаётся гармоничный легендарно-сказочный мир, родственный мирам Ариосто и Тассо, доминантами которых тоже являются чудеса и рыцарские подвиги, победа добра и справедливости после авантурных злоключений.

Важно, что для характеристики раннего Пушкина (его творческой свободы, остроумия и иронии, игрового отношения к жизни и культуре) Киреевский выбирает именно аналогию с итальянской поэзией. На этом этапе она уже осмысливается двойственно: как нечто изящное, увлекательное – но и как нечто свойственное юности поэта, склонной (хоть и в гениальных формах) к легкомыслию и подражательности. Выстраиваются две оппозиции: «итальянское – русское» (русская литература связана с итальянской, но в итоге должна обрести собственные формы, подойти к которым поэт способен только в зрелости) и «итальянское – английское» (второй период – скепсиса, рефлексии и меланхолии, акцентирования авторского «Я» – Киреевский называет *отголоском лиры Байрона* [8. С. 46]). В поздних аналитических статьях итальянская поэзия тоже является знаком «юности человечества», ранних стадий европейской цивилизации. В эстетическом смысле, по Киреевскому, это становится своеобразным «тезисом» (внимание к внешнему, чувственному миру); за тезисом следует «антитезис» – рефлексия и мрачные краски германской поэзии (английское, немецкое искусство); русская литература призвана стать «синтезом», в котором два этих начала уравновесятся и образуют истинную мудрость. Характерно, что ту же завершающую роль Киреевский отводит для России и в широком историческом плане.

Присутствие итальянского наследия в русской литературе фиксируется Киреевским также в «Обозрении русской словесности

1829 года». Критик выстраивает целостную панораму отечественной словесности, выделяет тенденции развития сначала поэзии, затем прозы и драмы [9. С. 55–79]. Перед обзором конкретных произведений 1829 г., которые стали важными фактами культуры («Полтавы» Пушкина, «Моря» Жуковского, «Бала» Баратынского, лирики Веневитинова и Дельвига), он обращается к истории русской литературы в целом – и делает это вновь аналитически, выделяя три эпохи (Карамзина, Жуковского и Пушкина, который и открывает для России настоящий XIX в.). Однако взгляд Киреевского на отечественную словесность скорее скептический: по его мнению, она ещё «не доросла» до самобытности и пока лишь усваивает европейское наследие (*господствует два рода литераторов: одни следуют направлению французскому, другие немецкому* [9. С. 68]). Но этап восприятия чужого, по Киреевскому, закономерен и необходим: вобрав эстетический и исторический опыт всех европейских стран, Россия найдёт новый, уникальный путь развития (*Совместное действие важнейших государств Европы участвовало в образовании начала нашего просвещения... и вместе дало возможность будущего влияния на всю Европу <...> Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других – судьба России зависит от одной России* [9. С. 79]).

Закономерно, что в картину русско-европейского культурного диалога вписана и Италия. Её влияние на мировое искусство и философскую мысль, по Киреевскому, осталось в прошлом; как и другие любомудры, он отводит её «владычеству» эпохи Древнего Рима, Средних веков (частично) и Возрождения, причём в основном в сфере прекрасного (*Италия, Испания, Германия <...> Англия и Франция попеременно управляли судьбою европейской образованности* [9. С. 78]). Итальянская культура воспринимается как старая, растратившая внутренний потенциал; ей и Европе в целом противопоставляются «молодые народы» США и России. Тем не менее Италии принадлежит собственная эстетическая школа (Киреевский сохраняет термин из статьи о Пушкине), которая всё ещё влияет на русскую словесность. Ведущим автором из творящих «в итальянском духе» Киреевский (что ожидаемо) считает «итальяномана» Батюшкова: *Словесность итальянская, отражаясь в произведениях Нелединского и Батюшкова, также бросила свою краску на многоцветную радугу нашей поэзии <...> Но влияние итальянское, или, лучше сказать, батюшковское, заметно у немногих наших стихотворцев.*

Туманский отличается между ними нежностью чувства и музыкальностью стихов <...> К той же школе принадлежат гг. Раич и Ознобишин [9. С. 72]). Значимо, что связь с итальянским искусством вновь просматривается именно в поэзии, вне прозы и драмы (можно предположить, что этот род, по мнению Киреевского, является наиболее органичным для итальянского типа мышления). Характерен и круг авторов: Батюшков, будучи верным обожателем итальянской культуры и переводчиком с итальянского, выделяется как центр немногочисленного круга поэтов и становится своего рода «автором-посредником», только в той же языковой среде (собственно итальянское влияние заменяется на «батюшковское»). Киреевский сохраняет и спектр характеристик, присущих итальянской словесности (*нежность чувства, музыкальность* – скорее всего, снова подразумевается главным образом поэзия Ренессанса и недолгого последующего периода).

Киреевский включает в статью и обзор русских переводов, однако среди масштабного перечня европейских авторов (Шекспир, Шиллер, Гёте, Байрон, Мур, Мицкевич и др.) нет ни одного итальянца. Единственное включение итальянского текста опосредованно: упоминается анонимный перевод «Ромео и Джульетты» Шекспира [9. С. 74], сделанный П. Плетнёвым [10. С. 400]. Контекст итальянского, как в повестях Павлова, вводится только через «тройное преломление» (итальянские персонажи – английская трагедия – её русский перевод). Недостаток переводов с итальянского, возможно, следует из относительно малой распространённости итальянского языка даже в среде дворянской интеллигенции (несмотря на атмосферу салона Волконской).

Рефлексия по поводу итальянского языка заметна в статье «О стихотворениях г. Языкова» (напечатано в «Телескопе», 1834). В ней Киреевский несколько отходит от строгой аналитичности, позволив себе поэтично восхищаться творчеством Языкова: *Эта звучная торжественность <...> эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолепие языка...* [11. С. 140]. Черты поэзии Языкова, однако, в концепции Киреевского оказываются и чертами русского языка как такового: он тоже превозносится, но часть положительных качеств разделяет с итальянским (*если язык итальянский может спорить с нашим в гармонии вообще, то... уступит ему в мужественной звучности, в великолии и торжественности* [11. С. 140]). Отметим, как отступает ро-

мантическая идеализация итальянского языка, характерная, например, для путевых заметок Волконской или travelогов Шевырёва; в этом уже ощущается славянофильская позиция Киреевского.

Проза и житнетворческая позиция Зинаиды Волконской становятся предметом анализа Киреевского в статье «О русских писательницах» (1834). Наряду с Евдокией Ростопчиной, Елизаветой Кульман и другими представительницами дворянской интеллигенции, княгиня Волконская становится, с точки зрения Киреевского, символом новой эпохи – времени *европейского просвещения* [12]. В более поздних статьях эта категория оценивается мыслителем двояко; например, одна из центральных идей статьи «В ответ А.С. Хомякову» – критика европейского индивидуализма, а также католической схоластики. Тем не менее в данном тексте *европейское просвещение* выступает как синоним культуры в широком смысле, к которой Россия лишь начинает приобщаться.

В статье Киреевский не называет имён, однако личности легко узнаются благодаря отсылкам к творчеству и биографии. Так, фигура Волконской освещается в рамках проблемы русского языка и национальной культуры в отечественной словесности: Киреевский отмечает произведение княгини «Славянская картина V века», написанное всё-таки по-французски. Но критический обзор уступает место панегирику, написанному в нетипичных для Киреевского поэтических тонах. Возможно, в этом сказались близость автора к московскому салону княгини и атмосфера куртуазного поклонения, царящая там [13]; заметим также, что среди текстов мадригального характера, посвящённых Волконской, есть стихотворение Киреевского. Однако важнее то, что он эксплицирует роль княгини как культурного *посредника* между Россией и Европой и воспроизводит мотивы посвящённой ей лирики, где она предстаёт в образах ангела, Музы или Пери, несущей свет подлинных знаний и куртуазных чувств: *Все редкости европейской образованности, все чудеса просвещённых земель <...> всё это быстро и ярко пронеслось перед её глазами <...> всем этим она могла делиться со своими соотечественниками, ставши прекрасною посредницею между ими и тем, что просвещённый мир имеет самого замечательного...* [12. С. 127]. Отметим, что Киреевский пока не отказывается от антитезы «Россия – просвещённый мир», характерной для западнической позиции. Тем более пессимистично звучит его вердикт, являющийся следствием жизненного выбора княгини – её отъезда; посредничество Вол-

конской оказывается несбывшимся, подобно путешествию в Италию самого автора: *Но это не сбылось... Италия... сделалась её вторым отечеством* [12. С. 127].

Панегирик Италии в статье явно переключается с панегириком Волконской – он тоже исполнен лиризма, написан с использованием ритмизации и усложнённых синтаксических конструкций: *Кто из первых впечатлений узнал лучший мир на земле, мир прекрасного <...> для того уже нет жизни без Италии, и синее итальянское небо, и воздух итальянский <...> и итальянский язык, проникнутый всею прелестью неги и грации, и земля итальянская <...> зачарованная созданиями гениального творчества, – может быть, всё это становится уже не прихотью ума, но сердечную необходимость* [12. С. 127]. Очевидно, что Киреевский, с одной стороны, использует устойчивый смысловой комплекс, сложившийся вокруг образа Италии в романтизме (синее небо, певучий язык, античные древности, жизнь как искусство), а с другой – включает итальянское пространство в контекст современности, текущего культурного развития. Благодаря этому отъезд Волконской получает принципиально иную оценку, нежели в лирике: это уже не своего рода смерть (уход в Рай), а, напротив, нужный и благотворный шаг, новый этап культурного посредничества. Не случайно слова *необходимость Италии* Киреевский выделяет курсивом: метонимия становится целостным понятием с реальной основой, таким же, как *европейское просвещение* или *чистилище ума*. *Необходимость Италии* превращается в ипостась необходимости культуры, ценностей духа, своего рода неуспокоенности; по мысли Киреевского, в жизненной и творческой статике эту потребность уже не удовлетворить.

Ещё один способ включения итальянского текста в статьи – через итальянскую литературу или через использование итальянских реалий в словесностях других стран (феномен «автора-посредника», который наблюдается в прозе Павлова и Погодина). Именно так Италия сопрягается с живым литературным процессом России; например, во «Введении к библиографии» (1845) – вступительной заметке к библиографическому отделу журнала «Москвитянин» [10. С. 415] – Киреевский опосредованно затрагивает итальянский текст, рассуждая о народности произведений Гоголя. Ход его мысли и оценки здесь имеют уже в большей степени славянофильский характер, чем черты любомудрия; тем не менее он соотносит Гоголя

с Шекспиром, в драмах которого находит ту же честность и национальный дух. При этом, как у Погодина и Павлова, Шекспир предстаёт творцом в первую очередь текстов с итальянским колоритом (очевидно, «Ромео и Джульетты», «Отелло», «Венецианского купца»): *Шекспир столько же англичанин, описывая Рим и Венецию, сколько в своих британских драмах* [14. С. 213]. Можно заключить, что слабый отзвук Италии, даже при наличии «автора-посредника», сохраняется и в наиболее славянофильских статьях Киреевского.

Аналогичное, «литературное» преломление Италии можно наблюдать в рецензии на перевод первой части «Фауста» и изложение второй, сделанные М. Вронченко («Москвитянин», 1845). «Фауст» и творчество Гёте в целом занимали важное место в мировоззрении Любомудров; кроме того, в переводах второй части «Фауста» и размышлениях о ней для многих из них (особенно для Веневитинова) пересеклись линии немецкого и итальянского культурных текстов. Оценивая перевод Вронченко, Киреевский попутно размышляет о роли личности и творения Гёте в эпохе; образ Фауста для него воплощает не только человека нового психологического типа (рефлектирующее, рациональное сознание), но и новый этап в способах познания и творчества. В этом автор вновь солидарен с идеями Веневитинова, рассуждавшего о двух «типах критики»: Фауст *выражал минуту перехода европейской образованности от влияния французского к влиянию немецкому* [15. С. 216]. Как и другие Любомудры, Киреевский склоняется к апологии немецкого влияния как воплощения анализа и рефлексии; немецкий национальный характер для него выражает содержание новой эпохи и потому претендует на общечеловеческие смыслы. Эпохальный статус Фауста подчёркивается рядом соотнесений с другими образами мировой культуры, в том числе с итальянскими: «*Фауст*» – *рождающийся XIX век. Он так же немец, как «Кандид» был француз, «Гамлет» – англичанин, «Дон Жуан» – испано-итальянец* [15. С. 216]. Важны сразу несколько содержательных пластов: во-первых, Италия вновь вписана в мировую культуру, но выступает скорее на её периферии по сравнению с Германией; во-вторых, намечается противопоставление итальянского текста немецкому, характерное для Любомудров (по линиям «Юг – Север», «эмоциональность – рациональность», «тело и чувства – дух и разум», «искусство – наука и философия»). Это особенно очевидно в том, что главным носителем итальянского духа Киреевский делает именно Дон-Жуана – пожалуй, наиболее яркого антипо-

да Фауста из перечисленных героев. Такой выбор заставляет предполагать, что для Киреевского Италия сопрягалась со сферой чувственности и любви так же, как для прочих Любомудров, и что он осознавал неизбежность конфликта этой чувственности, как полноценной жизни, с Духом и Разумом (вспомним, например, «Адель» Погодина или «Себастьяна Баха» Одоевского). Заметен ещё один интересный аспект: итальянский текст вступает в синонимические отношения с испанским, поскольку герой испанской легенды становится частью итальянской культуры. Возможно, для Киреевского Испания и Италия образуют во многом единую мифологию Юга и несут общие черты романской культуры в противоположность германской.

Все рассмотренные черты и смысловые оппозиции, присущие итальянскому тексту, сохраняются у Киреевского в статьях условно выделенной нами второй «линии» – *историософской*. Её рассмотрение, на наш взгляд, логично начать с «переходной» статьи «Обозрение современного состояния литературы» (1845), в которой линия *эстетическая* почти так же сильна. Несмотря на заглавие и основной посыл, Киреевский освещает скорее состояние европейской общественной и философской мысли, чем собственно литературу. С его точки зрения, граница этих начал постепенно исчезает: философия и художественная словесность всё больше смешиваются с журналистикой, становятся «служанками» актуальной современности (*везде мысль подчинена текущим обстоятельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена к требованиям минуты. Роман обратился в статистику нравов; поэзия – в стихи на случай* [16. С. 155]).

В литературе, в противоположность философии, Киреевский отмечает также тенденцию к дроблению на множество несогласованных форм и течений, лишённых какого-либо системного, мировоззренческого фундамента. *Отрицательная, полемическая* сторона мысли [16. С. 158], направленная на *опровержение систем и мнений* (к ней, заметим, бывший Любомудр Киреевский относит и философию Шеллинга), в Европе довлеет над *положительной*, занятой поисками новых оснований для жизни и искусства, этических ориентиров для человечества. После отдельного рассмотрения литератур Германии, Франции и Англии Киреевский приходит к выводу об общеевропейском характере этих процессов, размытии различий в национальных характерах [16. С. 173].

По мнению автора, это брожение умов вызвано одной главной причиной, которая трактуется им со славянофильски-просветительских позиций. Эта причина – расхождение разума и души, утрата веры европейской цивилизацией, которая воплотилась главным образом в отрыве искусства от народного мирозерцания. Атеизм эпохи Просвещения и скепсис XIX в., особенно ярко выразившийся в романтическом бунте Байрона, подвели черту под прежней картиной мира, однако, опровергнув традиционные ценности, не предложили новых. Мыслительные усилия Западной Европы, по Киреевскому, оторваны от народной жизни и религии, а значит, лишены подлинных оснований. В статье устанавливается важное для позднего Киреевского противопоставление *европейской образованности* и подлинного *просвещения* [16. С. 186–189]. Они соотносятся как форма и содержание, неразрывные стороны одного целого; *образованность* подразумевает силу интеллекта, искусственно сформированную эрудицию и логику, которая уходит корнями в схоластику католического богословия, тогда как *просвещение* – это духовная, личностная, этически-иррациональная основа, придающая логической форме смысл. Второе начало, связанное с верой, интуицией и поэтическим восприятием мира, сильно в российской мысли, но без первого она не сможет влиться в общеевропейское развитие и обречена на изоляцию. Синтез этих начал становится для Киреевского как эстетическим, так и историософским идеалом, которого пока не достиг ни один народ.

В рамках этой концепции в рассуждения Киреевского включается и итальянский текст. Отталкиваясь от Италии как эстетического феномена, родины европейского искусства, в итоге он всё-таки рассматривает её с историософской точки зрения – как участницу общеевропейского развития и один из очагов современной мысли. Так, первое упоминание Италии связано с тем, что там *тоже загорается теперь новая, достойная внимания мысль религиозно-философская* [16. С. 159]. Автор с энтузиазмом встречает факт новых религиозных поисков, которые оживляются даже в сердце мирового католицизма; однако Италия вновь оттесняется на периферию европейского развития Францией, Англией и особенно Германией. Аналогично оценивается Испания, причём Италия сближается с ней на этот раз как во многом вторичное культурное образование, подчинённое Франции – передовому центру романского Юга. Более того, по Киреевскому, следование французским формам в искусстве лишено в Ита-

лии и Испании содержательных оснований, является пустым и к тому же запоздалым подражанием: *В Италии и Испании хотя и заметно влияние литературы французской, но это влияние более мнимое, чем существенное, и французские готовые формы служат только выражением внутреннего состояния их собственной образованности, ибо не французская литература вообще, но одна словесность XVIII века господствует до сих пор в этих запоздалых землях* [16. С. 177]. Впрочем, к этому пассажи Киреевский добавляет примечание, в котором смягчает нелестную оценку: на его взгляд, *глубокомысленные сочинения Розмини* свидетельствуют, что *XVIII век скоро кончится для Италии и что её ожидает теперь новая эпоха умственного возрождения* [16. С. 177]. Подразумеваются, очевидно, сочинения Антонио Розмини-Сербати, итальянского философа, теолога, общественного и церковного деятеля. Киреевскому, скорее всего, были близки попытки Розмини возродить религиозную почву под новой европейской философией («кантовские априорные формы познания сводятся Розмини-Сербати к данной от бога врождённой идее потенциального бытия бога» [17. С. 587]). Сочинения Розмини, однако, тоже подталкивают Киреевского к историко-софским обобщениям: *умственное возрождение* Италии, на его взгляд, будет опираться *«на три стихии итальянской жизни: религию, историю и искусство* [16. С. 177]. Как видим, смысловые доминанты образа Италии остаются традиционными и совпадают, например, с поэтически воплощённым пониманием Веневитинова (Италия есть вера, красота и вечно живая Античность), а также близки концепции Шевырёва, выраженной в его травелогах и лирике.

Тем не менее в статью философско-публицистического характера Италия всё же включается и как эстетический факт. Например, размышляя о литературе Польши и её небывалом взлёте в XV–XVI вв., Киреевский обращает особое внимание на созданные в эту эпоху толкования Горация и *образцовый* перевод Тассо [16. С. 179]. Причастность польской знати к древнеримской и итальянской культуре трактуется как синоним высокой образованности, как признак того, что духовное развитие Польши именно тогда достигло своего пика. Однако этот пик остался бесплодным – по тем же причинам, которые, по Киреевскому, заводят в тупик современную европейскую мысль: *из-за оторванности высокой культуры от народа и религии. Между тем как учёные паны писали толкования на Горация, переводили Тасса <...> это просвещение отражалось только на*

поверхности жизни, не вырастая из корня <...> вся эта богатая литература исчезла... совершенно без следа для просвещения общечеловеческого [16. С. 179]. Интересно, что в современной Европе состоянию польской культуры, с точки зрения автора, наиболее близка Россия: склонность к мозаичной подражательности и способность легко впитывать культурный опыт Запада в ней не основывается на собственной, самобытной почве (современную русскую словесность Киреевский уподобляет *цветам без корня, сорванным с чужих полей* [16. С. 181]).

Синонимом высокой, но оторванной от практической жизни культуры Италия предстаёт в статье ещё раз, однако уже с другим знаком. Киреевский вводит в обозрение резкий обличительный пассаж в адрес американской литературы: на его взгляд, она является предельным выражением нового образа жизни – бездуховного, меркантильного, лишённого моральных и эстетических основ. По мысли Киреевского, опасная тенденция подчинять искусство логике, факту, материальной выгоде именно в США достигла предела. Поэтому даже черты, традиционно оцениваемые как «итальянские пороки», становятся положительным противовесом подобному влиянию: *Нет! <...> лучше залечь под тёплым небом в художественной атмосфере Италии* [16. С. 185]. *Художественная атмосфера* прочитывается как синоним подлинной культуры в противоположность новой, механистичной и массовой, цивилизации. Лень – черта итальянского характера и постоянный предмет иронии в текстах Любоумров (вспомним путевые дневники Шевырёва, «Imbroglia» Одоевского, романтический штамп «итальянская нега» в лирике); однако здесь она трактуется как одна из граней высокой, наполненной смыслами культуры, как способность к бездейственному созерцанию красоты мира вне погони за выгодой.

Более ранняя статья *историософской* линии, близкая по проблематике «Обозрению...», – «Девятнадцатый век» (1832). Центральными в ней тоже являются проблемы европейского и русского просвещения, а также ключевых черт Нового времени. Однако Киреевский осмысляет европейскую историю скорее с позиций Любоумра, чем славянофила. Как и в статьях эстетической линии, он делает акцент на связи типов познания с типами искусства. Утрата веры как *положительного основания* жизни и литературы уже в этой статье расценивается как признак тупикового пути. Тем не менее именно с Великой французской революции, эпохи пика атеизма

и рационализма в Европе, Киреевский начинает отсчёт периодов развития Просвещения. Он конструирует широкую, сложную систему, показывая, как материализм сменялся мистицизмом, а затем – синтезирующим их идеализмом, как в искусстве классицизм и романтизм уступили место *историческому направлению*, а затем – мудрой «поэзии жизни» (что перекликается с мыслями статьи о поэзии Пушкина) [18. С. 79–89]. Благодаря таким обобщениям статья приобретает культурологический характер, и автор приходит к выводу об особой миссии современного искусства – восстановить связь с реальной жизнью, с бытовыми, этическими и экзистенциальными вопросами человека XIX столетия: *...главный характер просвещения в Европе был... попеременно поэтический, исторический, художественный, философический и только в наше время мог образоваться чисто практическим* [18. С. 89].

Проблема возвращения к христианству как к подлинному истоку европейской культуры вводит в статью итальянский текст сразу в нескольких ипостасях. Главные из них – Италия как наследница Древнего Рима, Италия как оплот католической церкви в Средние века и современная Италия, несколько отставшая, по мнению автора, от «просвещённой» Европы. Если первые две стадии развития Италии оцениваются Киреевским как эпохи её могущества и культурного взлёта (несмотря на ряд минусов), то современность, как и в «Обзрении...», видится временем отхода от веры, «запоздалости»: *Теперь... уважение к религии сделалось почти повсеместным, исключая, может быть, Италию, где тон легкомысленного безверия, данный Вольтером, ещё во всей силе, но где просвещение и не в этом одном отстало от образованной Европы* [18. С. 87]. Отметим, что постоянным для Киреевского становится соотнесение Италии XIX в. с Францией XVIII в.; это акцентирует его историософскую позицию и предпочтения. Позже, в «Обзрении...», мысль об итальянском неуважении к религии смягчается отзывом об изысканиях Розмини.

Ключевая часть статьи посвящена проблемам соотношения русского и европейского просвещения; разработанные здесь идеи затем возникают у Киреевского в «Обзрении...» и в статье «В ответ А.С. Хомякову». Интересно, что Италия здесь впервые включается в открытую смысловую оппозицию к России, и Киреевский безусловно относит её к «западному», чуждому русской ментальности миру: *...может быть, то же обстоятельство, которое вредило*

просвещению в России, могло бы способствовать его успехам в Италии или в Англии [18. С. 91]. «Исторические» пласты итальянского текста (античный и средневековый) становятся элементами основного тезиса мыслителя – о трёх *стихиях*, сформировавших европейское Просвещение, и о нехватке в России одной из них. Первой *стихией* Киреевский называет *влияние христианской религии*, второй – *характер, образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю*, третьей – *остатки древнего мира* (т.е. Греции и Римской империи). Именно падение Римской империи Киреевский, как и большинство историков, делает началом новой культурной эпохи, и, по его мнению, именно *классического древнего мира* *недоставало нашему развитию* [18. С. 92], чтобы обрести синхронность с остальной Европой. Взять необходимые для просвещения элементы «классического» можно было лишь извне, с Запада, что и совершил Пётр I; совсем не в славянофильском духе Киреевский защищает его, полагая, что подобную искусственную «прививку» нельзя было провести без насилия. Более того, мыслитель вступает в открытую полемику с агрессивными защитниками национальной «старины» (к которым позже примкнул и Шевырёв, и Погодин); на его взгляд, отказ от *европейской образованности* способен лишь привести Россию к регрессу и краху: *если немцы искали чисто немецкого, то это не противоречило их образованности <...> Но у нас искать национального – значит искать необразованного; развивать его на счёт европейских нововведений – значит изгонять просвещение* [18. С. 98]. Тем не менее позицию Киреевского нельзя считать абсолютно западнической: он доказывает, что эпоха подражаний и заимствований была неизбежна, но будущее России – в её собственных руках, в синтезе западных приобретений и национального, в том числе православного, наследия.

Древний Рим воспринят Киреевским как царство Разума, победившего хаос непознанного мира. Разум порождает формальную логику и культуру – особенно в её внешних формах; эти формы, по Киреевскому, сильны и в западных разновидностях христианства. Рациональная логика, чёткая схоластика догматов вызвали к жизни могущество и непререкаемый авторитет римской церкви. Подобно историкам-западникам, Киреевский отмечает, что, став не только духовным, но и политическим центром Европы, католическая церковь сформировала всю европейскую культуру. Напротив, в России, где всегда существовало чёткое разделение религиозной и светской

власти, такого не произошло. Киреевский положительно отзываясь об этом с этической точки зрения (*В России христианская религия была ещё чище и святее* [18. С. 93]), но отрицательно – с политической и историософской: из-за слабого влияния церкви раздробленная Русь не смогла воспротивиться татаро-монгольскому нашествию и в итоге на несколько веков отстала в развитии от Европы. По контрасту с несколько идеализированной кроткой Русью Киреевский абсолютизирует жёсткую власть церкви (т.е. итальянского Ватикана) в Европе Средних веков: *Она [церковь] была первым звеном... феодального порядка <...> она была первою стихиею... рыцарства <...> она дала один дух всей Европе, подняла крестовые походы <...> остановила набеги варваров и положила преграду нашествиям мусульман* [18. С. 93]. Власть единой религии на территории нескольких государств, по Киреевскому, определила силу Европы; а это единство основывалось на общем происхождении из культуры Древнего Рима.

Вторично этот аспект итальянского текста появляется в статье, когда Киреевский переходит к эпохе Возрождения: *...церковь перестала быть единственным проводником образованности, и Европа обратилась прямо к своим умственным праотцам – к Риму и Греции* [18. С. 95]. В отличие, например, от Шевырёва, который оставил подробные рассуждения о Флоренции и Венеции эпохи Ренессанса в своих травелогах, Киреевский лишь вскользь касается этого вопроса, но всё же акцентирует наследие *классического мира*, оставшееся доминантой развития Италии: *...ещё прежде падения греческой империи уже итальянские республики образовывались по образцу древних, между тем как архитектура, живопись, ваяние, науки и самый патриотизм в Италии носили глубокую печать одного идеала: классического мира* [18. С. 96]. Мыслитель снова связывает культуру, искусство с законами политического и социального развития, воспринимая Италию в единстве того и другого. Он рассматривает Италию не только как чисто эстетический феномен, «родину прекрасного», но и не только как «государство» в чисто материалистическом понимании – как систему товарно-денежных отношений, иерархию социальных слоёв, борьбу династий и групп за власть. Стоит отметить также, что Киреевский не выделяет отдельные топосы (например, итальянские города) и тем более персоналии (например, венецианских дождей, флорентийских герцогов Медичи или миланских

Сфорца); не вдаваясь в историческую конкретику, он предпочитает предельные обобщения. Италия, таким образом, видится с позиций мирового христианства и европейской культуры, но не «в деталях», не изнутри.

Ещё одна статья историсофской линии, содержащая итальянский текст, – «В ответ А.С. Хомякову» (1839). Киреевский написал её для вечерних собраний в московском литературном салоне Елагиной как ответ на статью Хомякова «О старом и новом», который изначально не предназначался для печати. Тем не менее Ю.В. Манн считает обе статьи «программными документами формирующегося славянофильства» [10. С. 411]. Итальянский текст включён в эту статью ещё более скрыто и опосредованно, но тоже связан с вопросами европейской культуры, с историей Древнего Рима и католической церкви. Отталкиваясь от тезисов «Девятнадцатого века», Киреевский повторяет и более системно развивает их; в частности, центральными элементами европейского Просвещения он по-прежнему считает *римское христианство, мир необразованных варваров* <...> и *классический мир древнего язычества* [19. С. 145]. Отметим, что по крайней мере первый и последний элементы этой триады имеют прямое отношение к Италии.

Однако акценты в выводах уже радикально противоположные. Склонность к силлогизму и абсолютизации Разума Киреевский объявляет бедой и болезнью западной цивилизации, причём корни этой болезни ищет в той же католической церкви, которую раньше считал главным фактором единства и просвещения. Прощаясь с позицией Любоумра, нацеленного на диалог культур, Киреевский утверждает себя православный мыслитель и славянофил; например, он позволяет себе оценивать догматы католицизма как логическое искажение изначальных христианских истин (*следствие... внешнего силлогизма... изменён догмат о Троице в противность духовному смыслу и преданию* <...> *следствие другого силлогизма папа стал главою церкви* <...> *потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым* [19. С. 145]). Как ни парадоксально, при этом Киреевский признаёт себя человеком западного образования и западных привычек, но идея возвращения к вере для него уже значимее, чем уважение к *европейской образованности*. Западный рационализм, в том числе рационализм итальянской культуры, он объявляет *началом односторонним, обманчивым, обольстительным и*

предательским [19. С. 146], помехой для истинного просвещения и истинной веры.

Обвинения, которые Киреевский высказывает в адрес римской церкви, выдержаны в стандартных славянофильских тонах: жестокость крестовых походов, давление на светскую власть, интриги иезуитов, истребление науки и искусства инквизицией [19. С. 147–148]. Акцентируя внимание на мрачных сторонах европейской истории, мыслитель как бы забывает о позитивных факторах, которые ранее занимали в его же концепции не последнее место. Поэтому закономерно, что Киреевский уже не углубляется в рассуждения о Древнем Риме, итальянских республиках Ренессанса, итальянском искусстве и философии – вероятно, это противоречило бы полемическим целям статьи, внося лишнюю для автора диалектику.

Воссоздавая картину общественных и имущественных отношений в Древней Руси, Киреевский явно прибегает к идеализации: ведущим фактором развития для него становится соборное, общинное начало, земля – собственностью «мира», князья – справедливыми правителями с ограниченной властью. С его точки зрения, это уберегло Россию от западного индивидуализма – неизбежного следствия культа Разума и католической схоластики: *Частная, личная самобытность, основа западного развития, была у нас так же мало известна, как и самовластие общественное <...> Все силы, все интересы... существуют там (на Западе. – Ю.П.) отдельно... и соединяются... или в случайном порядке, или в искусственном соглашении. В первом случае торжествует материальная сила, во втором – сумма индивидуальных разумений* [19. С. 149]. К тем же причинам Киреевский возводит отсутствие на Руси рыцарства как отдельного класса, который опирался на личную силу и стремление к выгоде. В этом он снова видит этическое превосходство православной церкви, но уже без её же политической недальновидности (*Ничего не было бы легче, как возбудить у нас крестовые походы, причислив разбойников к служителям церкви и обещав им прощение грехов за убиение неверных <...> Наша церковь этого не сделала, и потому мы не имели рыцарства, а вместе с ним и того аристократического класса, который был главным элементом всего западного образования* [19. С. 151]). Заметим, что Киреевский почему-то не принимает в расчёт древнерусских дружинников, бояр, систему на-

граждения землёй за службу и другие явления, во многом аналогичные западным.

В связи с исторической проблемой рыцарства в статью входит итальянский текст. Несмотря на полемический тон и критику Европы, Италия появляется скорее как положительный противовес: *Где больше всего было неустройства на Западе, там больше и сильнее было рыцарство; в Италии его было всего менее. Где менее было рыцарства, там более общество склонялось к устройству народному...* [19. С. 151]. Иными словами, «отставание» Италии от передовых государств теперь расценивается положительно, а в её общественной структуре Киреевский неожиданно обнаруживает черты народовластия, аналогичные древнерусским. Это, пожалуй, единственное место в статьях историософской линии, где Италия открыто сближается с Россией, а не противопоставляется ей – впрочем, ценой утраты всё той же *европейской образованности*. Даже наследие Рима подвергается переоценке: по Киреевскому, именно античные ориентиры в науке и философии привели Европу к эпохе *безбожия* [19. С. 152]. Следствием этого стал общеевропейский кризис, единственный путь для России в котором – возвращение к православию как подлинно христианской культуре и этике. Статья, начатая как спор с радикальным славянофилом Хомяковым, превращается в его поддержку, хотя и смягчённую. Киреевский полагает, что отрицать западное влияние и насильственно возрождать законы русской старины *было бы смешно, когда бы не было вредно*, но главной целью России тоже считает возвращение *к тому живительному духу, которым дышит её церковь* [19. С. 153]. Статью можно воспринимать как разрыв Киреевского с позицией Любоудра и, соответственно, с идеями русско-европейского и русско-итальянского культурного диалога.

Таким образом, итальянский текст занимает специфическое место в переписке, критике и публицистике И.В. Киреевского. Италия стала важным фактором его духовного развития; в итальянском тексте Киреевского проявилось взаимовлияние поэзии и философии, «осердечивание» философских вопросов, что характерно и для творческого сознания других Любоудров. Однако при этом Киреевский воспринимал Италию прежде всего как мыслителя, которого волновали исторические и культурологические проблемы России и Запада. Отношение к Италии как к эсте-

тическому и историческому феномену изменилось, отразив движение автора от любомудрия к славянофильству. Тем не менее многие элементы итальянского текста Киреевского (роль древнеримского наследия, диалектические размышления о церкви Ватикана, представления об итальянской природе, поэзии, языке) остались прежними. Возможная причина этого – особый личный опыт: для Киреевского Италия стала невоплощённой мечтой молодости, «земным раем», которого он так и не достиг.

Литература

1. Манн Ю.В. Эстетическая эволюция И. Киреевского // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 7–40 (История эстетики в памятниках и документах).
2. Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных исканий русского романтизма. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 352 с. (Коммуникативные стратегии культуры).
3. [Письмо] И. Киреевский – А. Елагиной (20 февраля / 4 марта 1830 г.) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 340–343.
4. [Письмо] И. Киреевский – А. Елагиной (21 августа / 2 сентября 1830 г.) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 355.
5. [Письмо] И. Киреевский – А. Елагиной (5 / 17 августа 1830 г.) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 352.
6. [Письмо] И. Киреевский – П. Киреевскому ([Берлин] 16–21 марта 1830 г.) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 349.
7. [Письмо] И. Киреевский – А. Елагиной (5 / 17 апреля 1830. Мюнхен) // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 348–350.
8. Киреевский И.В. Нечто о характере поэзии Пушкина // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 43–54.
9. Киреевский И.В. Обзорение русской словесности 1829 года // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 55–78.
10. Манн Ю.В. Примечания // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 393–427.
11. Киреевский И.В. О стихотворениях г. Языкова // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 132–142.
12. Киреевский И.В. О русских писательницах // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 123–131.
13. Сайкина Н.В. Московский литературный салон княгини Зинаиды Волконской. М.: Наука, 2005. 295 с.
14. Киреевский И.В. <Введение к библиографии> // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 210–213.
15. Киреевский И.В. «Фауст». Трагедия, сочинение Гёте // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 214–217.

16. *Киреевский И.В.* Обзорение современного состояния литературы // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 154–202.

17. *Философский энциклопедический словарь* / гл. ред. Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев. М.: Сов. энцикл., 1983. 840 с.

18. *Киреевский И.В.* Деятнадцатый век // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 79–100.

19. *Киреевский И.В.* В ответ А.С. Хомякову // Киреевский И.В. Критика и эстетика / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.В. Манна. М., 1979. С. 143–153.

ITALIAN TEXT IN THE CRITICAL WORKS AND CORRESPONDENCE BY I.V. KIREYEVSKY

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 26–51. DOI: 10.17223/24099554/7/2

Yulia E. Pushkareva, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: pia11@yandex.ru

Keywords: Lyubomudry, Ivan Vasilyevich Kireyevsky, Italian text, cultural dialogue, Slavophilism.

Italian text occupies an important place in the works by the Lyubomudry, who started a new stage in the cultural dialogue between Russia and Europe. These authors represented Italy as a real space and a cultural phenomenon (as in the stories by Pogodin and Pavlov, the journey notes and poetry by Shevyrev), a philosophic phenomenon (Odoevsky's prose), a personal psychological experience (the works by Shevyrev, Venevitinov). Italian text found an original interpretation in the works by I.V. Kireyevsky as well. When young, he was a member of the Society of Lyubomudrye and supported the idea of the cultural dialogue between Russia and Europe. Later his views changed: he came to Slavophilism and religious pursuits. However, his ideas about global and Russian development, the role of religion for the culture, and the laws of literary process form a unifying vision. As one of the Lyubomudry, Kireyevsky was interested in the problems of cognition, philosophy of art, European and Russian education. These themes became central in his articles and letters. Moreover, Italy was important for his biography: when young, Kireyevsky was going to visit Italy during his educational journey through Europe. The journey was suddenly interrupted to make Italy his unrealised dream. In the letters written by young Kireyevsky, Italy gets a positive estimation as a romantic ideal. The phenomenon of Italy is connected with the heritage of classical antiquity and the Renaissance, the mythologeme of the South as an earthly paradise. The works by Ariosto and Tasso, the masterpieces by Raphael and Corregio make Kireyevsky think of art perception and the beauty as a philosophic category. Italian text in Kireyevsky's articles is more special. Italy is usually on the periphery of his attention, either included in the broad European context or placed inferior to Germany, England, and France. Italy may become an element of comparison (opposed to Russia, Germany, and the USA), but only the subordinate one. Kireyevsky reduces almost all the romantic stereotypes connected with Italy to objectively comprehend its art and history. A special important theme is Italian Catholicism, which, according to Kireyevsky, serves as the stem for European rational cognition. Besides, Italy does not become an empiric space – Kireyevsky does not focus on definite Italian topoi or personalities. It remains an abstraction, which is used exclusively for the analysis. It is possible to trace two lines in Kireyevsky's articles containing Italian text: aesthetic and historiosophic. The first is found in "Something on the character of Pushkin's poetry", "About Russian women writers",

“About the language of Yazykov”, etc., where Kireyevsky discusses contacts between Russian and Italian literature and describes the worldview in Italian art, or dwells on the destiny of princess Z. Volkonskaya – a writer and the Lyubomudry’ “muse”, whose emigration had a great influence on their works. The articles of the second line (“The review of modern literature status”, “The nineteenth century”, “In response to A.S. Khomyakov”) demonstrate Kireyevsky’s transition to Slavophilism. He renounces the ideas of cultural dialogue between Russia and Europe. Italy of the 19th century and of the past is brought closer to Russia; Italian culture is opposed to German or French, as being more sensual and less rational, and to American, as being free from mercantilism. However, Italy is often viewed unfavourably, because it is a part of the Western civilization, which has chosen, in Kireyevsky’s opinion, the wrong way of development.

References

1. Mann, Yu.V. (1979) *Esteticheskaya evolyutsiya I. Kireevskogo* [The aesthetic evolution of I. Kireyevsky]. In: Kireyevsky, I.V. *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 7–40.
2. Dolgushin, D.V. (2009) V.A. Zhukovskiy i I.V. Kireevskiy: *Iz istorii religioznykh iskaniy russkogo romantizma* [V.A. Zhukovsky and I.V. Kireyevsky: From the History of Religious Pursuits of Russian Romanticism]. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi.
3. Kireyevsky, I.V. (1979a) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 340–343.
4. Kireyevsky, I.V. (1979b) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 355.
5. Kireyevsky, I.V. (1979c) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 352.
6. Kireyevsky, I.V. (1979d) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 349.
7. Kireyevsky, I.V. (1979e) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 348–350.
8. Kireyevsky, I.V. (1979f) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 43–54.
9. Kireyevsky, I.V. (1979g) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 55–78.
10. Mann, Yu.V. (1979) *Primechaniya* [Notes]. In: Kireyevsky, I.V. (1979g) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 393–427.
11. Kireyevsky, I.V. (1979h) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 132–142.
12. Kireyevsky, I.V. (1979i) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 123–131.
13. Saykina, N.V. (2005) *Moskovskiy literaturnyy salon knyagini Zinaidy Volkonskoy* [Moscow literary salon of Princess Zinaida Volkonskaya]. Moscow: Nauka.
14. Kireyevsky, I.V. (1979j) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 210–213.
15. Kireyevsky, I.V. (1979k) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 214–217.
16. Kireyevsky, I.V. (1979l) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 154–202.

17. Ilichev, L.F., Fedoseev, P.N. & Kovalev, S.M. (eds) (1983) *Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [The Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.

18. Kireyevsky, I.V. (1979m) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 79–100.

19. Kireyevsky, I.V. (1979n) *Kritika i estetika* [Criticism and Aesthetics]. Moscow: Iskusstvo. pp. 143–153.

НАЗАД В СССР: КУПРИН И ГОРЬКИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ В.Е. ГУЩИКА (1938–1940)¹

В статье в историко-литературном контексте рассматриваются ранее не изученные мемуарные тексты русского писателя-эмигранта В.Е. Гущика о А.И. Куприне и М.А. Горьком. Их анализ ставит вопрос о том, каким образом автор в межвоенную эпоху осмыслял прошлое, видел настоящее, представлял будущее. Статья позволяет осмыслить биографию, динамику мироощущения, а также генезис решения Гущика сотрудничать с советской властью в 1940 г. В работе показывается, что сближение с эстонской, затем с советской властью в 1939–1940 гг. представлялось писателю правильным средством ухода от нарастающего ощущения безнадежности, одиночества и страха перед будущим.

Ключевые слова: В.Е. Гущик, война, эмиграция, идеологический перевод, СССР.

Объектом исследования являются два текста русского эмигранта Владимира Ефимовича Гущика (1892–1947): статья «Куприн уехал» (1938) и неопубликованный очерк «“Великое сердце“. (Еще одна страница их жизни Максима Горького). Воспоминания» (1940). Анализируя повествование и историю взаимоотношений писателя с современниками, мы рассмотрим восприятие и оценку Гущиком общественных и культурных деятелей, живших в эмиграции и в СССР. Этот метод позволит описать два этапа идейной эволюции бывшего офицера Северо-Западной армии Н.Н. Юденича, который с конца 1930-х гг. все благосклоннее относился к СССР и весной 1940 г., за несколько месяцев до аннексии Эстонии, добровольно стал секретным осведомителем².

¹ Статья написана в рамках проекта IUT 34-30 «Ideology of Translation and Translation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th – 20th Centuries».

² Работа на советскую разведку не спасла Гущика. 31 декабря 1940 г. начальник 2-го отдела УГБ НКВД ЭССР А. Мурро подписал постановление об избрании меры пресечения, 4 января 1941 г. был произведен арест В.Е. Гущика. Следствие вел лейтенант госбезопасности, старший оперативник 1-го отделения СПО УГБ НКГБ ЭССР П.М. Авдашев (1910–1941). В начале июня Гущик был переведен из Таллина в Киров. 15 июля ему было предъявлено обвинение по статьям 58-10-1 и 58-13. 9 сентября состоялось судебное заседание, которое приговорило Гущика к высшей мере наказания. 20 сентября Верховный Суд СССР удовлетворил кассационную жалобу, и расстрел был заменен на 10 лет

Биография и творчество В.Е. Гущика были освещены в двух обзорных статьях С.Г. Исакова в 1996 г.¹ Исследователь создал портрет самого крупного русского писателя Эстонии, который имел неоднозначный, противоречивый характер, часто конфликтовал, был верен идеям евразийства, хотя отличался неустойчивыми политическими взглядами и заслужил репутацию хамелеона. Вслед за С.Г. Исаковым мы развиваем тезис о том, что большинство текстов писателя может быть рассмотрено как единая система с четкими бинарными оппозициями: христианское – языческое, духовное – материальное, Россия – Европа, родина – эмиграция.

Рассмотрим основные события из биографии В.Е. Гущика до написания статьи о А.И. Куприне в 1938 г. Итак, в 1919 г. Гущик был на несколько дней арестован ЧК за антисоветские разговоры. Благодаря заступничеству А.М. Горького и А.В. Луначарского он был освобожден с запретом занимать ответственные должности в течение пяти лет². В октябре 1919 г. Гатчина, где жил писатель, была занята Северо-Западной армией Н.Н. Юденича. Во время отступления до Нарвы Гущик сопровождал редактора армейской газеты «Принервский край» А.И. Куприна, с которым познакомился в Гатчине летом 1917 г. В Эстонии в течение последующих 20 лет писатель занимался литературной деятельностью, работал над изданием журналов и

с поражением в избирательных правах на пять лет. В.Е. Гущик умер в больнице Унжлага 29 октября 1947 г.

¹ Статьи С.Г. Исакова не полностью совпадают друг с другом (ср.: [1. С. 244–259]). В работе, опубликованной в книге «Русские в Эстонии», автор также дает обзорную характеристику творчества и лагерных стихотворений Гущика (см.: [2. С. 250–251]). Детальная история создания, рецепции и общая характеристика сборников рассказов Гущика была описана С.Г. Исаковым в статье для «Литературной энциклопедии русского зарубежья. Книги. 1918–1940» (см.: [3. С. 189–196]).

² Источником этих сведений являются следственное дело В.Е. Гущика и неопубликованный текст жены старшего сына писателя Л.К. Гущик «Владимир Гущик. Годы жизни». Арест писателя был ошибочно отнесен Л.К. Гущик к 1917 г. [4. С. 90]; в следственном деле он датируется 1919 г., что соответствует, вероятно, истине (НКВД могло проверить время ареста по своим архивным данным). Интересно отметить, что в следственном деле Гущика не упоминается о заступничестве Горького и Луначарского, о котором пишет Л.К. Гущик. С одной стороны, умолчание об этом факте в материалах следственного дела может отражать позицию следователя и суда, которые не желали фиксировать то, что две культовые пролетарские фигуры участвовали в 1919 г. в освобождении арестованного в 1940 г. «врага советской власти». С другой стороны, в первые послереволюционные годы Горький и Луначарский имели репутацию противников арестов и расстрелов (см., например: «Несовременные мысли: Заметки о революции и культуре» Горького, письма В.Г. Короленко к Луначарскому). Поэтому нельзя также исключить предположение о том, что в памяти Л.К. Гущик освобождение В.Е. Гущика из ЧК могло связаться с именами Горького и Луначарского.

альманахов. Он опубликовал пять сборников рассказов: «Христовы язычники» (1929), «На краю» (1931), «Люди и тени» (1934), «Забывшая тропа» (1938), «Жизнь» (1939). Эти книги заслужили высокую оценку видных писателей и деятелей русской эмиграции, например А.И. Куприна, И.С. Шмелева¹, А.В. Амфитеатрова, Н.К. Рериха и др.

В сентябре – ноябре 1931 г. под редакцией А.П. Девиса² и В.Е. Гущика выходил журнал «Панорама». В первом номере был напечатан рассказ Гущика «Знак», в четвертом – «Новое поколение». В первом номере писатель опубликовал рецензию на роман Л.Н. Нольде «Не ржавели слова» (Рига, 1930). Гущик отметил стиль автора, поставил это произведение на второе место после романа М.А. Булгакова «Белая гвардия» и процитировал эпиграф, слова св. кн. Довмонта-Гавриила: «Чести моей никому не отдам» (см.: [6. Т. 1. С. 19]). «Панорама» имела две рубрики, посвященные советской жизни: юмористическую («Самокритика СССР») и политическую («По СССР»). Рубрика «По СССР» состояла главным образом из фотографий с ироническим или саркастическим комментарием и была закрыта после выпуска второго номера журнала³.

В 1933 г. писатель организовал при спортивном и культурно-просветительском обществе «Витязь» литературную секцию и отдел имени профессора Н.К. Рериха в Эстонии. Участие Гущика в этих кружках было недолгим и закончилось разрывом, вызванным, по

¹ Так, Шмелев отметил три рассказа Гущика из сборника «Христовы язычники» (1929), посвященные изображению человека в революционную эпоху: «Вы достаточно умелый. “Жмы” – крепкий рассказ, очень сжатый и сосредоточенный и – широкий. Верно взято. Чудесен и “Ничьи”. Та же манера в рассказе прекрасном “Шесть дней”» [5. С. 191].

² А.П. Девис (1886–1942) был арестован органами НКВД 24 сентября 1940 г. и осужден на 8 лет.

³ В следственном деле Гущика, в постановлении об изъятии вещественных доказательств (15 июля 1941 г.) указаны номера 1, 4, 5 журнала [7. Л. 45]. Два листа из второго номера «Панорамы» были также пришиты к делу писателя, в частности страница с рубрикой «По СССР». Кроме фотографий здесь был напечатан отрывок из «исповеди» Ксении Кетовой, кандидата ВКП (б). Редакция журнала обозначила цель этой публикации – показать, «какие люди ценятся в СССР и какие приемы поощряются и награждаются коммунистической партией» [6. Т. 2. С. 13]. Текст повествует о доносах, слежке Ксении Кетовой, расцениваемых как проявление политической сознательности. См.: «Пошла я, товарищи, работать в комитет бедноты. Да так работала тихо, негласно – знала я всех кулаков в деревне и разоблачала, чтобы не примазывались. <...> В оба глаза надо смотреть, и на завод полезут кулаки, а я уж двух взяла на заметку. – Потом Колчак нашу деревню забрал, а я с подпольной ячейкой связалась. <...> Вот я и работала. С красными партизанами связь держала, что в деревне говорят – все в ячейку» [6. Т. 2. С. 13]. На следствии Гущик, признавая участие в «антисоветском» журнале «Панорама», подчеркнул, что «был техническим редактором и не мог ничего изменить» [7. Л. 55 об. – 56].

свидетельству А.А. Булатова¹, самой фигурой писателя, «человека неопределенных (довольно быстро меняющихся) взглядов, очень грубого и мало заносчивого нрава» [8. Л. 92 об.]. В апреле 1934 г. после выхода из общества «Витязь» он решил основать самостоятельное Рериховское общество. Просьба о финансовой поддержке и беспринципность Гущика вызвали возмущение Е.И. и Н.К. Рерихов. Е.И. Рерих признавалась в письме к К.И. Стуре от 15 ноября 1934 г.: «<...> за всю мою жизнь ничего более низкого и грубого не встречала. И это пишет интеллигентный человек и еще писатель!» [9. С. 120].

Гущик мог одновременно поступать и высказываться различным, взаимоисключающим образом. Для него были характерны эклектизм, нецельность, прагматизм, определенная беспринципность. 18 октября 1938 г. Н.К. Рерих с недоумением и раздражением писал таллинскому корреспонденту П.Ф. Беликову о В.Е. Гущике: «Подумайте только, мне он пишет: “Дорогой Учитель”, а в то же время за углом произносит хулу и клевету. Жаль видеть, когда способный человек допускает такую мрачную некультурность в своих действиях. <...> Спрашивается, к чему Гущик портит свой собственный путь» [10. С. 125]. Мотивы поступков Гущика неоднократно оказывались для современников необъяснимыми с точки зрения здравого смысла и представления о писателе.

В 1938 г. Гущик издал единственный номер альманаха «Поток Евразии»², в котором были опубликованы две его статьи. Первая – от редакции – называлась «Поток Евразии» и затрагивала общественно-политические и социально-культурные вопросы; вторая статья – «Куприн уехал» – характеризовала отношение русских эмигрантов к вернувшемуся в СССР писателю. Прежде чем перейти к анализу статьи, рассмотрим кратко взаимоотношения двух писателей.

А.И. Куприн, познакомившийся с Гущиком в Гатчине летом 1917 г., поддерживал с ним переписку в эмиграции³, отметил рассказ

¹ А.А. Булатов (1877–1941) – бывший помещик и комиссар временного правительства в Новгороде, в 1922 г. эмигрировал из Советской России, в 1936 г. открыл книжный магазин в Таллине. В 1940 г. он был арестован и в 1941 г. расстрелян.

² В 1939–1940 гг. Гущик выпустил три евразийских сборника «Витязь».

³ Письма А.И. Куприна к В.Е. Гущику хранятся в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом). Во время работы над статьей эти тексты были мне недоступны, так как находились на реставрации. Отдельные письма и фрагменты из них были опубликованы в середине 1980-х гг. (см.: [11, 12]). В письмах Куприн рассказывает о

друга «Шесть дней»¹: «Дневник очень и очень хорошо! Просто и талантливо. Bravo! Бис!». Отзыв Куприна был напечатан на концевом титуле третьего сборника Гущика «Люди и тени» (1934) [14] и в его пятом сборнике рассказов «Жизнь» (1938) [5. С. 188]. Рассказ Гущика мог, вероятно, подтолкнуть Куприна к описанию своего арестантского опыта². В 1930 г. он написал два автобиографических рассказа «Обыск» и «Допрос». Как известно, писатель был арестован 1–4 июля 1918 г. Поводом послужила его статья «Михаил Александрович»³, опубликованная в газете «Молва» 22 июня 1918 г.

Интересно, что за три года до появления купринских рассказов Гущик посвятил трагической судьбе брата Николая II повесть «Тайна Гатчинского двора: Великий князь Михаил Александрович» (1927). В рассказе «Допрос» Куприн вводит отсылку к фигуре отца Гущика. Автор упомянул личного ординарца генерала М.Д. Скобелева, которым, как известно, был Ефим Викентьевич Гущик. Отметим, что уже в повести «Однорукий комендант» (1923, парижский альманах «Окно») Куприн использовал фигуру отца Гущика для создания образа Лещика Ефима Андреевича, об этом факте Гущик упоминает в рассказе «Таинственный талисман (Быль)» (см.: [5. С. 158]). В свою очередь, Гущик посвятил Куприну рассказы «На рыбалке» (из сборника «Христовы язычники») и «Сила» (из сборника «Забытая тропа»). Как отметил С.Г. Исаков, в автобиографическом рассказе «Сила» А.И. Куприн является «прототипом главного героя – старого писателя Ивана Александровича» [1. С. 256].

Личные контакты в России, обмен книгами, переписка между двумя писателями давали каждому из них творческие импульсы и

своей трудной жизни в Париже, выражает мнение о произведениях Гущика (в частности, критически отзываясь о его стихах), говорит о книгах и литературном быте.

¹ «Шесть дней» входят в первый сборник рассказов Гущика «Христовы язычники» (1929). Текст написан в форме дневника арестанта и повествует об аресте и шести днях пребывания в тюрьме ЧК в марте 1919 г. Автор показывает изменение душевного состояния заключенных: злорада, досада, страх, апатия, «холодный ужас». Рассказ заканчивается сломом сознания главного героя, отчаянным желанием вырваться из «этой кошмарной комнаты <...> от этих итогов людского убожества! <...> В мертвую пустоту... в темную ночь ... в небо... в пространство!...» [13. С. 52]. Бывший товарищ министра иностранных дел в правительствах А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, евразиец П.Н. Савицкий подчеркнул трагическое напряжение рассказа и достоверность переданных писателем отдельных подробностей [5. С. 190–191].

² Устная история обыска и ареста писателя была хорошо известна в литературных кругах, во многом, как отметил К.И. Чуковский в 1919 г., благодаря самому А.И. Куприну [15. С. 239].

³ Великий князь Михаил Александрович был выслан большевиками из Гатчины в марте 1918 г., ночью 13 июня он был тайно расстрелян вблизи Перми.

свидетельствовали о теплых дружеских чувствах. Неслучайным было появление совместной, сделанной в Гатчине в начале 1918 г., фотографии Куприна и Гущика в пятом номере журнала «Панорама», издававшемся младшим другом. Куприн стал для Гущика литературным и личным авторитетом¹.

В 1937 г. А.И. Куприн вернулся в СССР. Статья Гущика «Куприн уехал» была опубликована в 1938 г. в альманахе «Поток Евразии». Текст условно состоит из трех частей. Сначала автор критикует отношение к Куприну русских эмигрантов (И.А. Бунина, Ф.И. Шаляпина и др.), не оказавших ему материальной помощи; затем Гущик резко отзывается об эмигрантах (П.М. Пильском, З.Н. Гиппиус, особенно И.Л. Солоневиче, издатель «Голоса России», и др.), осудивших возвращение Куприна в СССР. В заключение он приводит выдержки из личной переписки с Куприным, в которых тот описывает свое тяжелое душевное настроение. В статье Гущик изображает Куприна «живым воплощением русской культуры», одиноким и брошенным на произвол судьбы, окруженным «патристическими фарисеями». Писатель предстает жертвой «злобности и черствости эмигрантского эгоизма». Вслед за уехавшим Куприным Гущик ментально отделяет себя от эмигрантского мира: «Господи! Пронеси всех скорее через это страшное поле, имя которому – Зарубежье!» [17. С. 103]. Статья «Куприн уехал» заканчивается цитатами из писем писателя, в которых он обрисовал свое ожидание от советской власти: «Скажу Вам, что живется мне мерзко. Короче: если бы в России меня оставили в покое, на какой угодно едальной категории, то я со своей стороны обещал бы не делать никакой политики и не “наводить мораль”. И я чувствовал себя гораздо лучше, чем в Париже» [17. С. 107]. В обмен на иждивение и спокойную жизнь писатель согласился хранить молчание и не критиковать происходящее в СССР. Идеино-политическая позиция Куприна, который был личным авторитетом для Гущика, могла оказать влияние на его убеждения и коллаборационизм в 1940 г.².

¹ Примером отражения купринского текста в произведении Гущика может служить рассказ «Еж Ежович». Необычное имя главного героя, вероятно, отсылает к детскому рассказу Куприна «Еж» (1913): «К детям, к двум сорванцам, **еж ежович** был очень внимателен...» [16. С. 488]. Прагматика выбора имени Еж Ежович из купринского рассказа может быть объяснена стремлением Гущика подчеркнуть руссоизм и естественность в жизни героя, в котором природное начало носит созидательный, гармоничный характер и который в годы Гражданской войны ведет праведный образ жизни.

² Отметим факты личностного влияния Куприна на Гущика. В брошюре о президенте К. Пятсе (1940) Гущик привел разговор между Куприным и королем Александром I Кара-

Куприн умер 25 августа 1938 г. в Ленинграде. Гущик откликнулся на смерть друга «Прозаическими стихами (На смерть Куприна)», опубликованными в сборнике рассказов «Жизнь» (1938). Это произведение состоит из шести отрывков, каждый из которых заканчивается фразой «Страшно очень. Страшно, да». Эта реплика трижды является ответом Куприна лирическому «я», писателю, который обращается к нему: «Страшно мне».

Воеет, плачет непогода. Ночь осенняя темна <...> На Голгофе распинали честь и стыд. Голод... холод... тиф... Иоффе... Троцкий... гадость... срам и лесть. <...> На забытого Отца зубы скалили, урчали из-за каждого куска <...> Спи. Печальна повесть эта. Спи, ушедший навсегда. – Страшно мне! Но нет ответа: – Страшно очень! Страшно, да! [5. С. 182–184].

Текст строится вокруг описания страхов или событий из жизни Куприна: революции, Гражданской войны, жизни в эмиграции, смерти. Точка зрения автора совпадает с лирическим «я»: он, как и герой-Куприн, помнит кровавое прошлое, видит настоящую душевную черствость людей и предчувствует будущую беду. Главная тема и поэтическая эмоция, которая организует повествование о Куприне, – это нарастающий страх, отчаяние человека перед враждебным миром. По моему мнению, возвращение в СССР и смерть Куприна стали важным толчком к размышлениям Гуцика о своей будущей судьбе. В 1938–1939 гг. в его душе усилились чувства страха, неуверенности, безысходности, оборотной стороной которых, по свидетельству современников, были резкость, раздражение, грубость.

В мае 1939 г. писатель был принят на службу при Министерстве народного просвещения Эстонии; он систематизировал русские кни-

георгиевичем с целью демонстрации идеи, что заслуженная любовь народа к правителю является критерием государственного благополучия (см.: [18. С. 5]). В Унжлаге (1941–1947) Гущик написал воспоминания о Куприне, которые ему удалось переслать жене. Этот текст, хранящийся в рукописном отделе Пушкинского Дома, состоит из трех частей: Первая встреча (Лето семнадцатого) – Учитель – Гражданин. Ср., например, диалог между Куприным и Гущиком: «– Во всяком случае, если в России произойдут большие революционные сдвиги и государство будет построено на новых, более справедливых началах, то нас с вами там будет последнее место! <...> – Кому-кому, а уж вам-то должно быть определено почетное место, не вам ли обязаны массы своим презрением к полицейскому режиму? Куприн вздохнул, ниже опустил голову и тихо сказал: – Мало, слишком мало мною сделано» [19. Л. 29об. – 30]. Гущик усиливает и подчеркивает левые, просветские настроения Куприна – еще до начала осенних событий 1917 г. На характер воспоминания, несомненно, повлияло участие Гуцика в общественно-культурных мероприятиях в Унжлаге; писатель волей-неволей переводил свои устные и письменные тексты в идеологически приемлемый регистр.

ги в библиотеках¹. В первой половине 1940 г. вышли три книги Гущика о выдающихся эстонских деятелях, написанные по заказу Министерства народного просвещения Эстонии. Как установил С.Г. Исаков, эти брошюры были напечатаны в издательстве «Libris» за государственный счет и имели официальный характер, их цель заключалась в утверждении среди русского населения идеологии «националистического фундаментализма» [1. С. 250–251]². Весной 1940 г. писатель принял предложение о сотрудничестве с советской разведкой³. После аннексии Эстонии в июле 1940 г. Гущик числился

¹ Отметим, что сближению Гущика с эстонской властью способствовал поданный президенту К. Пятсу доклад о положении Печерского края (см.: [7. Л. 31–32]). Проект не был реализован в полной мере. 21 мая 1940 г. директор департамента молодежи и неформального образования Й. Веллеринд сообщил министру просвещения В. Нормаку об отсутствии денег для оплаты труда Гущика (см.: [20. Л. 297]).

² К следственному делу Гущика приложены две книги «Наш президент Константин Яковлевич Пятс» и «Наш главнокомандующий генерал Иван Яковлевич Лайдонер». *Per aspera ad astra* – главная метафора, положенная в основу конструирования образов государственных героев. В пропагандистских целях писатель был способен идеализировать и мифологизировать представителей авторитарной власти. Однако Гущик, не связанный с идеологической работой, скорее негативно оценивал носителей сильной абсолютной власти, что отразилось на концепции пьесы о Петре I «Антихрист» (1939). В основе ее сюжета лежит противостояние между Петром I и его сыном Алексеем. Идейнными и литературными источниками пьесы являются произведения Д.С. Мережковского: роман «Антихрист. Петр и Алексей» (1904) и трагедия «Царь Алексей» (1918). Пьеса Гущика представляет собой выражение концепции личности как сочетания и противостояния двух начал: созидającego и разрушающего. Писателя интересует драматический конфликт этического выбора между личным и государственным, который является борьбой добра (христианского начала) и зла (антихриста). В отличие от романа Мережковского в пьесе Гущика Петр понимает ужас совершенного им преступления и справедливость отрицательного взгляда народа. В финале царь восклицает: «Лешку моего!... Лешку! (Вскакивает, угрожающе подымает вверх кулаки и кричит) Антихрист! Антихрист я! (Но тотчас приходит в себя, испуганно озирается <...>) видит Бог... не по личному почину... не ради чего... а токмо ради счастья Российского! [21. С. 45]. Гущик подчеркивает невозможность достичь душевной гармонии, когда служение государству требует от правителя быть по ту сторону добра и зла.

³ По гипотезе С.Г. Исакова, «работа в советской разведке явно объясняется не причинами материального порядка: в конце 1930-х гг. В.Е. Гущик был уже материально обеспечен <...>. Вполне можно допустить, что причины тут могли быть идейного порядка <...> В.Е. Гущику могло показаться, что его работа на пользу будущей России-Евразии» [1. С. 252]. Неубедительным является стремление А. Борисова объяснить поступок Гущика его творческой, впитывающий в себя все натурой [22]. Для С.Г. Исакова трудность заключается в осознании, каким образом деятельность Гущика на советскую разведку могла сочетаться «с работой в эстонском государственном аппарате, с созданием официальных пропагандистских брошюр о вождях Эстонской Республики [1. С. 252]. Одним из источников, объясняющим мышление писателя весной 1940 г., могут служить его рассказы о революции и войне. В рассказе «Ничьи» (сб. «Христовы язычники») крестьянин Адралион повествует Игнатке о том, как он пережил Гражданскую войну. Когда в деревню пришли красные и хотели мобилизовать мужиков, он убежал в лес; на следующий день

сотрудником Министерства внутренних дел, занимал должность пограничного секретаря, но уже в августе был переведен в Таллинский городской административный отдел, а затем назначен на менее престижную должность директора зоопарка. 4 января 1941 г. органы НКВД арестовали писателя.

За два с небольшим месяца до ареста, в октябре 1940 г. Гущик написал воспоминание об А.М. Горьком «Великое сердце», повествующее о заступничестве писателя за художника-карикатуриста П.Е. Щербова. Этот текст состоит из трех частей. В первой Гущик рассказывает о встрече с Шаляпиным, во второй – с Горьким, в третьей – о судьбе своей ненапечатанной статьи в защиту Горького.

В статье «Куприн уехал» Гущик, нелюбезно отзываясь о пограничной жизни певца, вспомнил историю Щербова и обещал ее позднее рассказать (см.: [17. С. 86–87]). В статье «Великое сердце» писатель подробно на ней останавливается. Текст о Горьком был инспирирован желанием Гущика как сохранить память о великодушном поступке писателя, так и отрицательно изобразить Шаляпина:

<...> Октябрьская революция застала Павла Егоровича в его особняке¹. <...> И вот, однажды, у него среди ночи, неожиданно произвели обыск. <...> сам «домовладелец» арестован и обвинен в спекуляции коврами и игральными картами, а за «сокрытие оружия» было предъявлено особое обвинение. Помню, что все дальнейшее происходило в воскресенье. Чуть свет, ко мне на квартиру пришла взволнованная жена Александра Ивановича Куприна и от имени мужа просила меня срочно выехать к Шаляпину и к Горькому хлопотать о Павле Егоровиче, которому грозила крупная непри-

он, голодный, вернулся домой и оказался уже среди белых, которые его записали в полк; однако Адралион от них также сбежал в лес.

– Тогда все перепуталось, стреляли и справа и слева, не разберешь. В лесу все зеленые, потом и друзей нашел. Жили душа в душу. Вспомнишь – за сердце хватает!

– А чьи же вы были?

– А ничьи! [13. С. 20].

Герою чужды общественно-политические идеи, военно-этические понятия о долге и чести. Он сохраняет гармоничность и цельность натуры вне зависимости от любых событий, общественно-политических явлений и форм. Герой – это самостоятельный, естественный и свободный человек, который принадлежит только себе. Однако в реальной ситуации 1940 г. «литературная» модель поведения, основанная на отстранении или сознательном уходе и отказе от идеологического выбора, обернулась для Гущика политическим релятивизмом и коллапсом нравственных ценностей.

¹ Наружное описание дома Щербова было дано Гущиком в статье «Куприн уехал» [17. С. 93]. Писатель упрекал П. Пильского, осуждавшего возвращение Куприна в СССР, который в своей статье указал неверное количество этажей в доме художника.

ятность. И я тотчас же отправился в Ленинград <...> С варшавского вокзала отправился я на Каменноостровский проспект <...> на одной из боковых улиц (не помню названия) проживал Ф.И. Шаляпин. <...> Передаю ему все, что мне известно о злополучном аресте Павла Егоровича и, почти буквально, слышу в ответ: – <...> Нет-с, слуга покорный, я не намерен из-за его ошибок рисковать своим благополучием. Да к тому же, мне некогда: я спешу на дневной концерт. Извините. До свидания. Ровно ничего не могу сделать!

Общая линия поведения Шаляпина, по-видимому, описана Гущиком верно. В воспоминаниях И.А. Бунин заметил о Шаляпине, которого считали левым в царское время, что он «при большевиках уже не был столь храбр» [23. С. 76]. Фрагмент о Шаляпине заканчивается следующим пассажем:

<...> Много лет спустя, когда я наслышался о его «подвигах», я понял, что это был за отвратительный тип! Довольно его наглого признания, что: «Горький зовет меня петь для русского народа, но не могу же я ради Горького ссориться с принцем Уэльским!»

Источник фразы Шаляпина установить не удалось. Отметим характерный выбор Гущиком сведений из жизни певца: он исключительно негативный. Вместе с тем в круг чтения писателя могли попасть мемуарные книги Шаляпина «Страницы из моей жизни» (1926) и «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» (1932), из которых он мог узнать и о великодушных поступках певца. Например, о выдвинутом Шаляпиным условии поездки в Лондон в 1921 г., что «этот концерт будет в пользу голодающих русских» [24. С. 111], или о его безуспешном заступничестве за баронов братьев Владимира и Николая Стюартов (см.: [25. С. 88]). Односторонне-отрицательное отношение Гущика к Шаляпину в конце 1930-х гг. имело несколько причин: поведение певца в деле Щербова, роскошная жизнь баса в эмиграции¹, его безразличное отношение к больному Куприну (см.: [17. С. 102]).

В статье после сцены посещения Шаляпина Гущик описал встречу с Горьким:

¹ В рассказе Гущика «Колесо жизни» (сб. «На Краю», 1931) сталкиваются два героя, две точки зрения на Россию, интеллигенцию, народ, эмиграцию. См. эмоциональные, исключительно отрицательные высказывания в адрес эмиграции: «Не Россия, а собственная шкура и деньги, – идеал эмиграции! Не верь их ломанию...» [26. С. 101]. Название рассказа Гущика, вероятно, отсылает к названию романа Куприна «Колесо времени» (1929).

<...> Я увидел усталое, доброе, немного озабоченное морщинистое лицо с жесткими усами и с тихими задумчивыми глазами: видимо, он что-то еще обдумывал, от чего оторвал его мой звонок. <...> Когда я говорил о Щербове, он глядел мне прямо в глаза, встревоженный и настороженный. <...> Здесь я рассказал о своем визите к Шалапину. Он только отмахнулся. <...> Он соединился по телефону и все тем же озабоченным, встревоженным тоном стал говорить, что он сейчас на автомобиле выедет к ним, что Павел Егорович Щербов <...> знаменитый художник <...> что это его личные коллекции, очень редкие и дорогие¹, и что к Щербову следует отнестись с уважением. <...> Через час он выступил в Совете, а еще через час, взяв под руки Павла Егоровича и председателя, шел широкими шагами к дому Щербова пить чай.

В отличие от описания Шалапина Гуцик рисует портрет Горького, наделяет его внешними и психологическими чертами. Не случайным является выбор названия для воспоминания «Великое сердце». Хотя это выражение является штампом, название может иметь источник – слова Порфирия Петровича, обращенные к Раскольникову: «А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь» [27. С. 351]. Роман «Преступление и наказание» (1866), по нашей гипотезе, актуализирован Гуциком в рассказе «Поручик Кораблев»².

При анализе «Великого сердца» необходимо обратить внимание на «географический» статус героев. За исключением П.Е. Щербова персонажи делятся на два идеологически различных лагеря: убежденные эмигранты (Бунин и Шалапин; последний отклонил к тому же предложение Горького о возвращении в СССР³) и возвращенцы (Горький и Куприн). В зависимости от окончательного выбора автор

¹ В книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» Шалапин отметил любовь Горького к коллекционированию: «То он собирал старые ружья, какие-то китайские пуговицы, то испанские гребенки и вообще всякий бзик-а-брак» [25. С. 82].

² В рассказе «Поручик Кораблев» (сб. «Забывтая тропа») Гуцик изображает допрос поручиком контрразведки Кораблевым арестованного коммуниста. Оба героя проникаются пониманием и симпатией друг к другу, но доверительный разговор не спасает Сковрцова. В связи с этим рассказом отметим, что личный опыт Гуцика мог стать одним из источников текста. Писатель в 1919 г. был назначен в штаб дивизии Северо-Западной армии в аппарат поручика Ф.А. Бронина, главы контрразведки Талабского полка. Вопрос о том, является ли Бронин или кто-то из следователей его аппарата (Феофилин, Ю.И. Рымша, А.Н. Молчанов) прототипом героя рассказа Гуцика, остается открытым. Интересно, что в своих показаниях Ф.А. Бронин, перечисляя состав сотрудников, не назвал фамилию Гуцика (см.: [28. Л. 27–27 об.; 32–32 об.]).

³ Этот факт мог быть известен Гуцику: об этой истории, об отношении к Горькому, о разрыве с писателем Шалапин рассказал в книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах» (1932).

характеризует своих героев. Бунин и Шалапин изображены в одностороннем отрицательном ключе, наоборот, вернувшиеся в СССР и отказавшиеся от личной свободы Куприн и Горький – в исключительно положительном. Дистанцирование от Бунина и Шалапина, акцентирование близости к Куприну и восхищение Горьким должны были, по замыслу Гущика, представить его в выгодном, просоветски настроенном свете.

И тогда я понял <...> каким изумительным, чутким, добрым, умным и отзывчивым человеком был наш великий писатель Максим Горький! И внутренне я поклялся быть верным этому человеку. <...> когда после его смерти, вся заграничная пресса и русская и иностранная, во главе с писателем Иваном Буниным¹, обрушилась мерзейшими статьями на его память. <...> Я нашел в себе мужества выступить с открытым письмом-статьей и разгромить мерзавцев, осмелившихся пятнать его имя. Редактор газеты сочувствовал моему возмущению, цензура в день выпуска газеты прозевала статью и только на второй день конфисковала номер и закрыла газету [29. Л. 1 об. – 3 об.].

Гущик закончил воспоминание кратким и неясным упоминанием о запрещенной статье о Горьком. Сегодня мы можем внести следующие пояснения. Статья была подана в газету «Новая Искра» (Вильна), которая выходила в 1936–1937 гг.² и редактором которой был литератор, критик, общественный деятель Д.Д. Бохан (см. о нем: [30. С. 143–150]). Выбор журнала оказался неслучайным. В номере от 2 сентября 1936 г. был впервые опубликован текст Гущика «Наш бал (отрывок из письма эмигранта)», в 1937 г. его художественные тексты часто появлялись на страницах газеты³. Гущика

¹ Разрыв между Буниным и Горьким произошел после прихода к власти большевиков. В воспоминаниях о Горьком (1936) Бунин подвел итог: «Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим» [23. С. 83]. В мемуарном тексте Гущик имеет в виду статью Бунина о Горьком, опубликованную в газете «Иллюстрированная Россия» в июле 1936 г.

² Газета начала издаваться 3 апреля 1936 г. В программной передовице газета ставила своей задачей «стоять на страже государственных интересов, так и культурных, национальных и религиозных интересов русского и всего православного населения Польши» // Новая Искра. 1936. № 1. 3 апр. С. 1. <Автор выражает благодарность П.М. Лавринцу за предоставленные материалы. – Т.Г.>

³ Как установил П.М. Лавринец, публикации Гущика в «Новой Искре» за 1937 г. были следующие: «Чорт» № 35 (299), 20 февраля; № 36 (300), 21 февраля; «Рыжий» № 42 (306), 27 февраля; № 43 (307), 28 февраля; № 45 (309), 2 марта; «С Иваном Максимовичем

и Бохана также объединяли общие евразийские взгляды. Не случайно писатель опубликовал отрывок из отзыва Бохана на его рассказы в сборнике «Жизнь» [5. С. 185]. (Бохан отметил краткость слога писателя, его знание эмигрантской и советской жизни.) Отметим, что в июне 1936 г. Бохан был приговорен к двум неделям ареста, в 1937 г. с 8 по 17 февраля газета не издавалась. Последний номер был выпущен 18 апреля 1937 г. Вопрос о том, в какой мере статья Гущика в защиту Горького спровоцировала закрытие польскими властями «Новой Искры», остается открытым. Однако есть основания также предполагать, что ее закрытие стало результатом конфликта с польскими властями или банкротства.

Итак, в мемуарном тексте «Великое сердце» писатель подчеркивает отсутствие границы для Горького между литературной деятельностью (которой он занимался до прихода Гущика) и заступничеством за Щербова. Творчество и жизнь Горького оказываются единым и нераздельным, они объединены гуманизмом писателя. Горький предстает цельной и бескорыстной, нравственно безупречной личностью и является идеальным примером для восхищения. Интересно, что Гущик изобразил Горького полной противоположностью себе, каким он был в жизни.

Существенно подчеркнуть, что воспоминание о Горьком было написано в атмосфере репрессий, когда советская карьера Гущика пошла на спад, когда оставалось немногим более двух месяцев до его ареста. По моему мнению, прагматика этого текста заключалась, прежде всего, в стремлении упрочить свое пошатнувшееся положение. В этой связи более понятным становится резкая неприязнь автора к Шаляпину-эмигранту и симпатия к Горькому – главе советских писателей. Отметим выбор сюжета для воспоминания о Горьком в конце 1940 г. Гущик, бывший советский агент, написав текст о заступничестве Горького за невинно арестованного Щербова, показал несправедливость и ошибочность действий ЧК. Рассказ о поступке Горького (известного к тому времени и по статье «Если враг не сдается, его уничтожают», 1930) также акцентировал идею о необходимости доброты, справедливости, милосердия – о возвращении человека к христианской стороне своей натуры.

(Посвящается друзьям охотникам)» № 50 (314), 7 марта; № 51 (315), 8 марта; 15–16 марта печатался «Писатель», а с 20 марта по 3 апреля, затем с 8 по 18 апреля – «Фантастическая явь (Повесть не для простого читателя, а для пишущей братии. Не-литератору она будет скучна, а литератору, если и скучна, то и поучительна)».

Начало изменения отношения Гущика к СССР точно датировать трудно, важнее указать вектор: от резкого неприятия, стремления рассказать правду к конформизму и моральному релятивизму. Эмигрантская жизнь и евразийство Гущика, особенно возвращение и смерть Куприна в СССР, всеобщее чувство неизбежности Второй мировой войны влияли на его мироощущение. В своих произведениях он противопоставляет Россию / СССР – Европе. Место проживания (в эмиграции или в СССР) влияло на описание и оценку писателем того или иного деятеля.

Отношения Гущика с властями развивались по параболе: после использования писателя, стремившегося играть заметную роль, от него дистанцировались. В 1939–1940 гг. Гущик стал заложником мифа о деятельном, полезном власти писателе. Парадокс Гущика заключался в том, что мысль писателя о жестокости и несправедливости (на примере описания ареста П.Е. Щербова и заступничества А.М. Горького) не исключала, а допускала обывательскую мысль о сотрудничестве с советской властью как средстве выживания. Нравственная раздвоенность и внутренняя надломленность лежат в основе личностного коллапса Гущика. Свою душевную трагедию писатель осознал после приговора суда. В Унжлаге он начал писать стихи, и художественное самоосознание стало путем к личностному перерождению.

Литература

1. Исаков С.Г. Жизнь и творчество В.Е. Гущика. Статья 1. Биография // Блоковский сборник XIII: Памяти В.И. Беззубова: Русская культура XX века: метрополия и диаспора / ред. А. Данилевский. Тарту, 1996. С. 244–259.
2. Исаков С.Г. Жизнь и творчество В.Е. Гущика // Исаков С.Г. Русские в Эстонии, 1918–1940: Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. 400 с.
3. Исаков С.Г. Гущик Владимир Ефимович (1892–1947) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). М., 2002. Т. 3. Книги: Ч. 1. С. 189–196.
4. Гущик Л.К. Владимир Гущик. Годы жизни // Tartu Ülikooli raamatukogu. F. 157 (Архив С.Г. Исакова). Nim. 2. S. 177 (В.Е. Гущик: статьи С.Г. Исакова по теме, переписка, рабочие материалы... 1994–2000). С. 90–95.
5. Гущик В.Е. Жизнь. Пятый сборник рассказов. Кн. 7. Bruxelles: Petropolis, 1938. 192 с.
6. Панорама. Иллюстрированный номер 15 дней / изд. А. Девис, В. Гущик. Таллин, 1931. № 1–5.
7. Гущик В.Е. [Следственное дело] // ERAF. F. 129 SM. Nim. 1. S. 2349-1.
8. Булатов А.А. [Следственное дело] // Ibid. S. 25572.
9. Рерих. Е.И. Письма: в 9 т. Т. 2: 1934 / ред.-сост. Т.О. Книжник. М.: МЦР, Благотворительный фонд им. Е.И. Рерих: Мастер-Банк, 2000. 576 с.

10. *Непрерывное* восхождение: К 90-летию со дня рождения Павла Федоровича Беликова (1911–1982): в 2 т. Т. 1: Воспоминания современников. Письма Н.К. Рериха, Ю.Н. Рериха, С.Н. Рериха. Труды / сост. К.А. Молчанова. М.: МЦР: Мастер-Банк, 2001. 504 с.

11. «Чем талантливее человек, тем труднее ему без России...»: Из писем А.И. Куприна В.Е. Гущiku / публ. Р. Каэра // Литературная газета. 1988. № 38. 17 сент.

12. *Неизвестные* письма А.И. Куприна из Парижа в Таллин / публ. и коммент. Р. Каэра // Радуга. 1987. № 4. С. 71–77; № 6. С. 40–45.

13. *Гущик В.Е.* Христовы язычники. Таллин: В. Гущик, 1929. 192 с.

14. *Гущик В.Е.* Люди и тени: сб. рассказов. Кн. 3. Таллин: Русская книга, 1934. 208 с.

15. *Чуковский К.И.* Дневник: в 3 т. Т. 1. 1901–1921 / сост., подгот. текста, коммент. Е. Чуковской; предисл. В. Каверина. М.: ПрозаиК, 2011. 592 с.

16. *Куприн А.И.* Повести и рассказы: в 2 т. М.: Гослитиздат, 1961. Т. 2. Рассказы. 622 с.

17. *Поток*: сб. Кн. 1. Tallinn: Libris, 1938. 112 с.

18. *Гущик В.Е.* Наш президент Константин Яковлевич Пятс. Tallinn: Libris, 1940. 23 с.

19. *Гущик В.Е.* Куприн Александр Иванович: (Мои воспоминания): Материалы для составления биографии писателя А.И. Куприна. Автограф. В самодельной тетради. 1946. 43 л. // ОР ИРЛИ. Архив В.Е. Гущика. Ф. 220. Оп. 1. № 12.

20. *Koolide raamatukogude mittevajaliku venekeelse kirjanduse üleandmine vene vähemusrahvuse koolidele ja avalikele raamatukogudele.* Alustatud 19. IV. 1939. Lõpetatud 21. V. 1940 // ERA. F. 1108. Nim. 7. S. 297.

21. *Гущик В.Е.* Антихрист: пьеса в 3 действиях и 4 картинах. Tallinn: Libris, 1939. 45 с.

22. *Борисов А.* «Чем ближе тыл, тем жить в нем... гаже»: А.И. Куприн и В.Е. Гущик // Молодежь Эстонии. 2004. (24 янв.). URL: www.moles.ee/04/Jan/24/21-1.php (дата просмотра: 01.02.2017).

23. *Бунин И.А.* Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: Воскресенье, 2006. Т. 9: Воспоминания. Дневник 1917–1918 гг. Дневники 1881–1953 гг. Первые литературные шаги. Перед грозой. Интервью разных лет. 592 с.

24. *Шаляпин Ф.* Страницы из моей жизни. Л.: Книжная палата, 1990. 464 с.

25. *Шаляпин Ф.* Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М.: Московский рабочий, 1989. 384 с.

26. *Гущик В.Е.* На краю: рассказы. Tallinn: Panorama, 1931. 192 с.

27. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6. Преступление и наказание. 423 с.

28. *Оконнель-Бронин Ф.А.* [Следственное дело] // ERAF. F. 130SM. Nim. 1. S. 8025.

29. *Гущик В.Е.* «Великое сердце» (Еще одна страница из жизни Максима Горького). Воспоминания // ОР ИРЛИ. Архив В.Е. Гущика. Ф. 820. Оп. 1. № 13.

30. *Лавринец П.* Пушкинианство Дорофея Бохана // Пушкинский сборник: К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина: материалы междунар. конф. «А.С. Пушкин: два века русской литературы», 26–29 апреля 1999 г. / сост. и отв. ред. Е. Костин. Вильнюс, 1999. С. 143–150.

BACK TO THE USSR: KUPRIN AND GORKY REPRESENTED BY V.E. GUSHCHIK (1938–1940)

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 53–70. DOI: 10.17223/24099554/7/3

Timur Guzairov, University of Tartu (Tartu, Estonia). E-mail: tguzaиров@gmail.com

Keywords: V.E. Gushchik, war, emigration, ideological translation, USSR.

The paper is prepared within Project IUT 34-30 “Ideology of Translation and Interpretation of Ideology: Mechanisms of Cultural Dynamics under the Russian Empire and Soviet Power in Estonia in the 19th–20th Centuries.”

The study is based on two texts of the Russian emigrant Vladimir E. Gushchik (1892–1947): the article “Kuprin has left” (1938) and the unpublished essay “The Great Heart (Another page of M. Gorky’s life). Memories” (1940). Analysing the articles and the history of the writer’s relationships with his contemporaries, the author focuses on how Gushchik perceived and assessed social and cultural figures who lived in emigration and in the USSR. This method allowed describing two stages in the ideological evolution of the former Northwestern Army officer N.N. Yudenich, who, since the late 1930s, was getting more loyal to the USSR to become a secret agent in the spring of 1940, a few months before the annexation of Estonia. Personal contacts between Kuprin and Gushchik, who exchanged books and held correspondence, demonstrated their warm friendly feelings and gave each of them creative impulses. Gushchik perceived Kuprin as a literary and personal authority, which determined the complete acceptance of his position in the article “Kuprin has left.” As it follows from Kuprin’s letters to Gushchik, the writer, who had returned from emigration, agreed to remain silent and not to criticise the USSR in the exchange for maintenance and quiet life. Kuprin’s death was an important impetus to Gushchik’s reflections on his future, as it is reflected in “Prosaic poems (On the death of Kuprin)”, published in the collection of short stories “Life” (1939). The rapprochement with the Estonian, and later with the Soviet power in 1939–1940 seemed to the writer the right choice to escape from the growing sense of hopelessness. After the annexation of Estonia in July 1940, Gushchik was a member of the Ministry of the Interior and served as a boundary secretary, but in August he was transferred to the Tallinn City Administrative Department, and then appointed to the much less prestigious post as Director of the Zoo. On January 4, 1941, Gushchik was arrested by the NKVD. Two months before his arrest, in October 1940, he wrote his memoir of A.M. Gorky “The Great Heart”, which tells how Gorky tried to patronise the cartoonist P.E. Shcherbov. Gushchik emphasises that Gorky did not distinguish between his literary and defense activities. Gorky’s creativity and life are integral and inseparable, being united by the writer’s humanism. The writer is represented as an integral and disinterested, morally impeccable personality, an ideal role model to be admired.

References

1. Isakov, S.G. (1996a) Zhizn' i tvorchestvo V.E. Gushchika. Stat'ya I. Biografiya [The life and work of by V.E. Gushchik. Article I. Biography]. In: Danilevskiy, A. (ed.) *Blokovskiy sbornik XIII: Pamyati V.I. Bezzubova: Russkaya kul'tura XX veka: metropoliya i diaspora* [The Blok Collection 13: In memory of V.I. Bezzubov: Russian culture of the 20th century: Metropolis and diaspora]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. pp. 244–259.
2. Isakov, S.G. (1996b) *Russkie v Estonii, 1918–1940: Istoriko-kul'turnye ocherki* [Russians in Estonia, 1918–1940: Historical and Cultural Essays]. Tartu: Kompu.

3. Isakov, S.G. (2002) Gushchik Vladimir Efimovich (1892–1947) [Gushchik Vladimir Efimovich (1892–1947)]. In: Bogomolov, N., Tsurganova, E. & Chagin, A. (eds) *Literaturnaya entsiklopediya russkogo zarubezh'ya (1918–1940)* [Encyclopaedia of the Russian Émigré Literature, 1918–1940]. Vol. 3. Moscow: ROSSPEN. pp. 189–196.
4. Gushchik, L.K. (1994–2000) *Vladimir Gushchik. Gody zhizni* [Vladimir Gushchik. Years of life]. The Archive of S.G. Isakov. Tartu University Library. Fund 157. List 2. File 177. pp. 90–95.
5. Gushchik, V.E. (1938) *Zhizn'. Pyatyy sbornik rasskazov. Kniga sed'maya* [Life. The Fifth Collection of Short Stories. Book 7]. Bruxelles: Petropolis.
6. *Panorama. Illyustrirovannyi nomer 15 dney.* (1931). 1–5.
7. Gushchik, V.E. (n.d.) [Investigation case]. *European Regional Development Fund (ERAF)*. Fund 129 SM. List 1. pp. 2349–1.
8. Bulatov, A.A. (n.d.) [Investigation case]. *European Regional Development Fund (ERAF)*. Fund 129 SM. List 1. pp. 25572.
9. Roerich, E.I. (2000) *Pis'ma: V 9 t.* [Letters. In 9 vols]. Vol. 2. Moscow: MTsR, Blagotvoritel'nyy fond imeni E.I. Rerikh, Master-Bank.
10. Molchanova, K.A. (ed.) (2001) *Nepreryvnoe voskhozhdenie. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya Pavla Fedorovicha Belikova (1911–1982): v 2 t.* [Continuous ascension. To the 90th anniversary of the birth of Pavel Fedorovich Belikov (1911–1982): In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: MTsR; Master-Bank.
11. Kuprin, A.I. (1988) “Chem talantlivee chelovek, tem trudnee emu bez Rossii ...”. Iz pisem A. I. Kuprina V.E. Gushchiku [“The more talented a person is, the more difficult it is for him without Russia . . .”]. From A.I Kuprin's letters to V.E. Gushchik. *Literaturnaya gazeta*. 17th September.
12. Kuprin, A.I. (1987) Neizvestnye pis'ma A.I. Kuprina iz Parizha v Tallin [The unknown letters of A.I. Kuprin from Paris to Tallinn]. *Raduga*. 4. pp. 71–77.
13. Gushchik, V.E. (1929) *Khristovy yazychniki* [Christ's Gentiles]. Tallin: V. Gushchik.
14. Gushchik, V.E. (1934) *Lyudi i teni: Sbornik rasskazov* [People and Shadows: A Collection of Stories]. Book 3. Tallin: Russkaya kniga.
15. Chukovsky, K.I. (2011) *Dnevnik: v 3 t.* [Diary: In 3 vols]. Vol. 1. Moscow: Pro-zaiK.
16. Kuprin, A.I. (1961) *Povesti i rasskazy: V 2 t.* [Short novels and stories: In 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Goslitizdat.
17. Gushchik, V.E. et al. (1938) *Potok Evrazii* [The Flow of Eurasia]. Book 1. Tallinn: Libris.
18. Gushchik, V.E. (1940) *Nash prezident Konstantin Yakovlevich Pyats* [Our President Konstantin Päts]. Tallinn: Libris.
19. Gushchik, V.E. (1946) *Kuprin Aleksandr Ivanovich (Moi vospominaniya). Materialy dlya sostavleniya biografii pisatelya A.I. Kuprina. Avtograf. Vsamodel'noy tetrad* [Materials for A.I. Kuprin's biography (My memoirs). Autograph. In a self-made notebook]. Department of Manuscripts, Institute of Russian Literature. Fund 220. List 1. File 12.
20. Anon. (n.d.) *Koolide raamatukogude mittevajaliku venekeelse kirjanduse üleandmine vene vähemusrahvuse koolidele ja avalikele raamatukogudele. Alustatud 19. IV. 1939. Lõpetatud 21. V. 1940.* ERA. Fund 1108. Nim. 7. pp. 297. (In Estonian).
21. Gushchik, V.E. (1939) *Antikhrist* [Antichrist]. Tallinn: Libris.
22. Borisov, A. (2004) “Chem blizhe tyl, tem zhit' v nem... gazhe”. A.I. Kuprin i V.E. Gushchik [“The closer the rear, the worse it is to live in it.” A.I. Kuprin and V.E.

Gushchik]. *Molodezh' Estonii*. 24th January. [Online] Available from: www.moles.ee/04/Jan/24/21-1.php. (Accessed: 1st February 2017).

23. Bunin, I.A. (2006) *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 t.* [Complete Works. In 13 vols]. Vol. 9. Moscow: Voskresen'e.

24. Shalyapin, F. (1990) *Stranitsy iz moyey zhizni* [Pages of my life]. Leningrad: Knizhnaya palata.

25. Shalyapin, F. (1989) *Maska i dusha. Moi sorok let na teatrakh* [The Mask and The Soul. My Forty Years in Theaters]. Moscow: Moskovskiy rabochiy.

26. Gushchik, V.E. (1931) *Na krayu* [On the Edge]. Tallinn: Panorama.

27. Dostoevsky, F.M. (1973) *Polnoe sobranie sochineniy: V 30 t.* [Complete Works. In 30 vols]. Vol. 6. Leningrad: Nauka.

28. Okonnel-Bronin, F.A. (n.d.) [Investigation Case]. *European Regional Development Fund (ERAF)*. Fund 130SM. List 1. pp. 8025.

29. Gushchik, V.E. (n.d.) "*Velikoe serdtse*" (*Eshche odna stranitsa iz zhizni Maksima Gor'kogo*). *Vospominaniya* ["The Great Heart" (Another page of M. Gorky's Life). Memo-ries]. Department of Manuscripts, Institute of Russian Literature. Fund 820. List. 1. File 13.

30. Lavrinets, P. (1999) Pushkinianstvo Dorofeya Bokhana [Pushkinianism of Dorofey Bohan]. In: Kostin, E, (ed.) *A.S. Pushkin: dva veka russkoy literatury* [A. Pushkin: Two Centuries of Russian Literature]. Vilnius: Vilniaus Universitetas. pp. 143–150.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ, ИМПЕРСКОЕ, КОЛОНИАЛЬНОЕ
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»**

**INTERNATIONAL CONFERENCE
«THE NATIONAL, THE IMPERIAL, THE COLONIAL
IN RUSSIAN LITERATURE»**

DOI: 10.17223/24099554/7/4

ОТ РЕДАКТОРА

В этой подборке читателю предлагаются статьи, подготовленные авторами на основе докладов Международной научной конференции «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе», которая состоялась 22–23 сентября 2016 г. в г. Томске. В работе конференции приняли участие более 30 ученых из различных университетов и научных институтов России (Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Сибирского федерального университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Пермского государственного университета, Высшей школы экономики, Горно-Алтайского государственного университета, Института истории и археологии УрО РАН) и стран Европы (Тартуского университета, Университета Базеля, Университета Тюбингена, Университета Грайфсвальда, Рурского университета, Берлинского университета им. Гумбольдта).

Миссия конференции заключалась в обсуждении роли, характера и инструментов русской литературы в отражении и моделировании имперско-колониального и нациестроительного опыта на разных этапах культурной эволюции, домодерном, модерном и постмодерном. Проблема чрезвычайно актуальна для современного литературоведения, поскольку является репрезентантом комплекса ключевых вопросов, возникающих при построения истории литературы. В настоящее время она все чаще уходит от конструирования на основе только национального деления и вынуждена учитывать как историческую динамику форм донациональной и постнациональной литературной общности, так и роль этнотерриториальных вариантов литературной идентичности, ак-

туальных для гетерогенных культурных образований вроде Российской империи, СССР или Российской Федерации.

В методологическом плане авторы данного номера исходят из единого внеэссенциалистского постулата о литературе как результате коллективного моделирования, призванного формировать общую художественную картину мира и организовывать культурные взаимодействия в определенном социополитическом, исторически изменяющемся сообществе, тем самым легитимизируя его существование через выстраивание той или иной идентичности. Для русской литературы этим сообществом выступала прежде всего империя, представлявшая собой наднациональную общность подданных, для которых важнейшим элементом идентичности была приверженность государству. Это определило ограниченное формирование узкоэтнической составляющей и перенос акцента на имперскую универсализирующую проблематику и формы литературного процесса, подразумевающие активное приглашение местных этнотерриториальных элит в общегосударственное культурное строительство. Это не отменяло возможности колониального доминирования, конкуренции или конфликта локальных литературных идентичностей, но уровневая многослойная организация имперской идентичности в целом, не предполагающая проведения абсолютных границ между регионально-территориальными, этническими, социально-групповыми, субкультурными сообществами, стала отличительной чертой русской литературы. При подобной постановке проблемы возможно создание исторически конкретной и дифференцированной картины развития русской литературы не только как локальной и национальной, но и как встроенной в качестве динамической системы в процесс литературной коммуникации в наднациональных масштабах.

Статьи данного номера вносят посильный вклад в изучение имперской имагологии и институциональных форм участия русской литературы в имперском культурном строительстве, продолжая на обновленной методологической основе начинания прежних международных конференций, организованных кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета или проведенных при ее участии: «Американские исследования в Сибири» (1995–2005), «Европейские исследования в Сибири» (1998–2004), «Евразийский культурный диалог в коммуникативном пространстве языка и текста» (2005), «Образы Италии в русской словес-

ности» (2009, 2011), «Россия – Италия – Германия: литература путешествий» (2013).

Первую серию публикаций по итогам конференции по праву открывает статья **А.С. Янушкевича**, выдающегося ученого, определившего лицо томской филологической школы и безвременно ушедшего из жизни в ноябре 2016 г. В ней определяется специфика культуртрегерского участия В.А. Жуковского в имперском идеологическом строительстве первой половины XIX в. Обозревая творчество и личные документы поэта от 1810-х до 1840-х гг., А.С. Янушкевич подчеркивает его неизменную установку на духовно-эстетическое просвещение и ответственность власти. Продолжением этого тезиса является статья **О.Б. Лебедевой** (ТГУ), выявляющая роль личностно-рефлексивного начала в «Послании к Воейкову» В.А. Жуковского, ставшем как образец субъективной интериоризации имперско-колониального опыта своего рода эквивалентом так и не созданного русской литературой национального стихотворного эпоса.

Три следующие статьи обозревают эволюцию этнокультурного «имперского воображаемого» в литературе середины XIX в. В работе **Е.К. Созиной** (УрО РАН) выявляются типы документального нарратива в журнале «Заволжский муравей», показательные для общепринятой стратегии представления национального мира имперских окраин. Статьи **П.В. Алексеева** (ГАГУ) и **К.В. Анисимова** (СФУ), напротив, акцентируют индивидуальные художественные и жизнестроительные интенции соответственно Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, отходящих от ориенталистски-колониальных схем в осмыслении восточных мотивов (кувшин Магомета) и жизни башкир.

Размышления над судьбой имперского опыта в культуре и литературе XX в. продолжают статьи **С. Франк** (Берлинский университет) и **В.В. Мароши** (НГПУ). Первая часть объемной работы С. Франк намечает символические константы, определившие «соловецкий текст» русской словесности, и предлагает обзор его эволюции от XVI до XX в. Статья В.В. Мароши обращена к современной литературе в ее популярных жанровых вариантах публицистики, фантастики, «исторической альтернативы» и осмысляет подходы к актуальной рецепции имперской идеи, воплощенной в образе Великой Монгольской империи.

Публикации по итогам Международной научной конференции «Национальное, имперское, колониальное в русской литературе» будут продолжены в следующих номерах журнала.

Председатель оргкомитета конференции
В.С. Киселев

EDITORIAL

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 71–76. DOI: 10.17223/24099554/7/4

Vitaliy S. Kiselev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: kv-uliss@mail.ru

Keywords: conference, paper, national, colonial, imperial, Russian literature.

In this collection the reader is offered papers prepared by the authors on the basis of the reports at the International Academic Conference “The National, the Imperial, the Colonial in Russian Literature” held on 22–23 September 2016 in Tomsk. More than 30 scientists from various universities and research institutes of Russia (Tomsk State University, Tomsk Polytechnic University, Siberian Federal University, Novosibirsk State Pedagogical University, Perm State University, Higher School of Economics, Gorno-Altai State University, Institute of History and Archeology of the UrB RAS) and European countries (Tartu University, University of Basel, University of Tübingen, University of Greifswald, Ruhr University, Humboldt University of Berlin).

The mission of the conference was to discuss the role, character and tools of Russian literature in reflecting and modeling the imperial-colonial and nation-building experience at different stages of cultural evolution, pre-modern, modern and post-modern ones. The problem is extremely relevant for contemporary literary criticism, as it represents a complex of key issues arising in the construction of the history of literature. At present, the history of literature increasingly abandons constructions on the basis of national division only, and is forced to take into account both the historical dynamics of the forms of the pre-national and post-national literary community and the role of ethnoterritorial variants of literary identity relevant to heterogeneous cultural entities, such as the Russian Empire, the USSR or the Russian Federation.

Methodologically, the authors of this issue proceed from a single non-essential postulate of literature as a result of collective modeling designed to form a general artistic picture of the world and to organise cultural interactions in a certain sociopolitical, historically changing community, thereby legitimising its existence through the modeling of one or another identity. For Russian literature, this community was represented by an empire, which was a supranational community of subjects, for which the most important element of identity was commitment to the state. This determined the limited formation of the nar-

row ethnic component and the shift of emphasis to imperial universalising problems and forms of the literary process, implying the active invitation of local ethno-territorial elites to the nation-wide cultural construction. This did not cancel the possibility of colonial dominance, competition or conflict of local literary identities, but the tiered multi-layered organization of imperial identity as a whole, assuming no absolute boundaries between regional-territorial, ethnic, social-group, subcultural communities, became a distinctive feature of Russian literature. With such a formulation of the problem, it is possible to create a historically concrete and differentiated picture of the development of Russian literature not only as local and national, but also as a dynamic system embedded in literary communication at a supranational scale.

The papers of this issue contribute to the study of imperial imagology and institutional forms of the participation of Russian literature in imperial cultural construction that on an updated methodological basis continues the ideas of previous international conferences organised by Tomsk State University Department of Russian and Foreign Literature or conducted with its participation: “American Studies in Siberia” (1995–2005), “European Studies in Siberia” (1998–2004), “Euro-Asian Cultural Dialogue in the Communicative Space of Language and Text” (2005), “Images of Italy in Russian Literature” (2009, 2011), “Russia–Italy–Germany: Travel Literature” (2013).

The first series of publications on the results of the conference rightfully opens with the paper by A.S. Yanushkevich, an outstanding scholar who determined the image of the Tomsk Philological School, and prematurely passed away in November 2016. The paper outlines the specifics of the cultural participation of V.A. Zhukovsky in the imperial ideological construction of the first half of the 19th century. Observing the works and personal documents of the poet from the 1810s to the 1840s, A.S. Yanushkevich stresses his unchanging attitude toward the spiritual and aesthetic education and responsibility of the power. The paper by O.B. Lebedeva (Tomsk State University) continues this thesis, describing the role of the personality-reflexive principle in V.A. Zhukovsky’s epistle “To Voeikov”, which became a certain equivalent of the national verse epic, never created by Russian literature, as a model of the subjective internalization of the imperial-colonial experience.

The following three articles overview the evolution of the ethno-cultural “imperial imaginary” in the literature of the mid-19th century. The paper by E.K. Sozina (UrB RAS) identifies types of documentary narrative in the magazine *Zavolzhskiy muravey* [Trans-Volga Ant], indicative of the generally accepted strategy for representing the national world of the imperial borderlands. The papers by P.V. Alekseev (Gorno-Altai State University) and K.V. Anisimov (Siberian Federal University), on the contrary, accentuate individual artistic and life-building intentions of F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy respectively, departing from the orientalist-colonial schemes in the comprehension of oriental motifs (Mahomet’s pitcher) and the life of the Bashkirs.

Reflections on the fate of the imperial experience in the culture and literature of the twentieth century continue in the papers by S. Frank (Berlin University) and V.V. Marosi (Novosibirsk State Pedagogical University). The first part of the voluminous work by S. Frank outlines the symbolic constants that determined the “Solovki text” of Russian literature, and offers an overview of its evolution from the 16th to the 20th century. V.V. Maroshi’s paper addresses modern literature in its popular genre variants of journalism, speculative fiction, “historical alternative”, and interprets approaches to the actual reception of the imperial idea embodied in the image of the Great Mongolian Empire.

The other papers of the International Academic Conference “The National, the Imperial, the Colonial in Russian Literature” will be published in the following issues of the journal.

А.С. Янушкевич

**ОСОБЕННОСТИ ИМПЕРСКОГО ТЕКСТА
В.А. ЖУКОВСКОГО:
ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРТРЕГЕРСТВО**

В статье рассматриваются культуртрегерские установки В.А. Жуковского, определившие его место в идеологической жизни Российской империи первой половины XIX в. Личностная рефлексия, «расширение души», этическая и историческая ответственность, будучи постоянным свойством его творчества и поведения, нашли эволюционирующую реализацию в гражданской поэзии 1810-х гг., в педагогической деятельности при дворе, в письмах к царственным особам, в публицистике 1840-х гг.

Ключевые слова: Жуковский, поэзия, письма, дневник, публицистика, имперский текст, идеология, культуртрегерство.

Особенности русской общественно-политической жизни, связанные прежде всего с отсутствием многих демократических институтов и экономико-юридических структур, определили своеобразие русской словесной культуры и особое место поэта в культурной и общественной жизни России. «Поэт в России больше, чем поэт» — эти слова Евгения Евтушенко, произнесенные в 1960-е гг., имели свою историю и онтологический подтекст. Достаточно бросить самый беглый взгляд на такие параллели, как Петр I и Ломоносов, Екатерина II и Державин, Александр I и Карамзин, чтобы почувствовать органическую связь власти и поэта, политики и литературы. Достаточно обратить взор на такие документы русской словесной культуры, как «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя и «Как обустроить Россию» Солженицына, чтобы понять глубинные подтексты этой связи, мессианские установки русских поэтов. В этом отношении имперский текст русской словесной культуры и общественно-философской мысли — понятие эволюционное и полисемантическое. И, разумеется, ментальное, поскольку философия «русской идеи» вызревала в течение нескольких веков и обретала собственную оригинальную филиацию смыслов.

Попытаемся с этой точки зрения всмотреться в творчество «литературного Коломба Руси, открывшего ей Америку романтизма в поэзии» [1. С. 469], гения перевода, учителя и наставника Пушки-

на, идеолога николаевского царствования, воспитателя царя-освободителя Александра II, автора философии «Святой Руси», «единственного кандидата в святые от литературы нашей» [2. С. 338] – В.А. Жуковского. Он поистине репрезентант имперского текста русской культуры, ибо вся его поэтическая, педагогическая и общественная деятельность, его религиозные искания, почти 25-летняя жизнь при царском дворе и диалог с властью обозначили семиосферу этого понятия.

Поэтическая трилогия молодого Жуковского: «Песнь барда над гробом славян-победителей» (1806), «Певец во стане русских воинов» (1812) и «Певец в Кремле» (1814–1816) – обозначила новый взгляд на проблему гражданской поэзии. На смену торжественной оде как ораторскому жанру пришла персоналистская лирика элегического настроения. В центре всех текстов оказывается уже не событие, не царственная особа, а голос поэта, выразителя и носителя национального сознания. История войны с Наполеоном – от зарубежных походов русской армии, событий Отечественной войны 1812 г. до вхождения русских войск в Париж – воссоздана как песнь возвышения и распространения души человека в контексте истории. Позднее Жуковский отчеканит это в поэтической формуле: «При мысли великой, что я человек, // Всегда возвышаюсь душою» («Теон и Эсхин» [3. С. 383]). В своей поэтической трилогии он выразит чувства «патриотической экзальтации», где хор воинов или народа сливается с голосом певца. Стремление передать эти эмоции в форме музыкальной кантаты превращало трилогию в своеобразную «героическую симфонию». Изданные отдельными брошюрами, песни молодого поэта воспринимались как национальные гимны и стали прологом к созданию государственного российского гимна на слова Жуковского.

Послание «Императору Александру», созданное в эпицентре этой трилогии, со всей отчетливостью обозначило не только поэтическое, но и идеологическое новаторство его автора. И тут лучше Пушкина ничего не скажешь: «Вот как русский поэт говорит русскому царю» (Письмо к А.А. Бестужеву, май – июнь 1825 г. [4. С. 79]). В этой пушкинской оценке важно акцентировать, пожалуй, одно слово: *говорит*. Установка на диалог с властью, процесс самоопределения поэта как выразителя национального сознания, проявляется именно в его голосе, манере говорить. Это остро почувство-

вал друг Жуковского Александр Тургенев, который в одном из своих писем поэту отмечал:

Девизом для всей твоей пиесы можно взять твои же два стиха:
О дивный век, когда певец Царя – не льстец!
Когда хвала – восторг, глас лиры – глас народа [5. Л. 49].

В письме к самому императору от сентября 1816 г., написанному по просьбе Тургенева и имевшему важные последствия в судьбе поэта, это выражено со всей определенностью:

Смею думать, всемилостивый Государь, что писатель, уважающий свое звание, есть так же полезный слуга, как и воин, его защищающий, как и судья, блюститель закона [6. С. 162–163].

1817 год стал водоразделом в судьбе Жуковского. Почти 25-летняя служба при дворе, сначала учителем русского языка великой княгини Александры Федоровны, а затем наставником великого князя Александра Николаевича, будущего российского императора Александра II, «царя-освободителя». В этой атмосфере Жуковский формировал тот текст русской культуры, который можно определить как житнетворческий. «Жизнь и Поэзия одно» – так сам поэт с афористической точностью закрепил это определение в одном из программных своих стихотворений «Я музу юную, бывало...» [7. С. 235]. Свою службу он рассматривал как миссию. Именно поэтому в его житнетворческом поведенческом тексте были неразделимы поэзия, педагогика, публицистика, историософские и религиозные искания. Идеология базировалась на основе культуртрегерства.

Сам этот текст многосоставный. Эгодокументы, определяющие его полисемантику и концептосферу, включают в себя письма к царственным особам, травелоги, дневник, публицистику и, конечно же, поэзию.

Мне уже приходилось специально писать о месте и значении писем Жуковского к царственным особам [8. С. 45–76]. Это беспрецедентный случай в истории русской общественной мысли. На протяжении 35 лет Жуковский создал более 300 писем к императорам Александру I и Николаю I, императрицам Марии Федоровне и Александре Федоровне, великому князю цесаревичу Александру Николаевичу, великим князьям Константину Николаевичу и Михаилу Николаевичу, великой княжне Марии Николаевне. Различные по объему, назначению, содержанию и даже стилю, они в своей совокупности вобрали в себя важнейшие события русской и европейской

истории от наполеоновских войн, декабристского восстания 14 декабря 1825 г. до революции 1848 г. в Германии. В орбите этого диалога не только исторические события, но и важнейшие факты развития культуры (история журнала «Европеец», борьба с Булгариным, формирование эрмитажной коллекции живописи), судьбы ее замечательных деятелей от Карамзина, Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Гоголя. Герцена до Карла Брюллова и Александра Иванова. Наконец, принципиально важно, что письма Жуковского к царственным особам – это его поведенческий текст, так как в них он не только анализирует события и рассказывает о происходящем, но и выступает в защиту гонимых, униженных, несправедливо обвиненных. И в этом смысле он был поистине ангелом-хранителем русской культуры, «рыцарем на поле нравственности и словесности» [9. С. 325]. Его письмо о гибели Пушкина, адресованное шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу, но обращенное к власти вообще, не только и не столько реабилитация русского гения, сколько защита свободы мысли и слова в России. Говоря об особой цензуре свыше и постоянной слежке за Пушкиным, Жуковский не может скрыть своих эмоций:

А эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждом стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение [10. С. 625].

Жуковский поистине предъявляет счет власти, превратившей жизнь поэта в надзор, и косвенно обвиняет ее в гибели национального гения. Письма Жуковского к царственным особам – это зеркало мудрости. Не случайно выпуск специальных изданий поэта («Собиратель», «Муравейник») был ориентирован на традицию немецкой просветительской мысли, философию «политической педагогики». Журнал Энгеля «*Fürstenspiegel*», тщательно проштудированный и давший материал для переводов, был для него образцом.

Но письма к царственным особам, прежде всего к великой княгине Александре Федоровне и великой княжне Марии Николаевне, превращавшиеся с их согласия в публикации на страницах популярных русских изданий («Полярная звезда», «Московский телеграф», «Современник»), были не только «травелогами возвышения души», ярчайшим образцом которого стало эссе «Рафаэлева мадонна»

(с подзаголовком «Из письма о Дрезденской галерее»), но и генетической основой философии «всемирной отзывчивости». «Путешествие по Саксонской Швейцарии», «Отрывки из письма о Швейцарии», «Отрывок из письма о Саксонии», «Очерки Швеции» открывали уже не только царственным особам, но и вообще русскому читателю и «туманную Германию», из которой русские привозили «учености плоды», «вольнолюбивые мечты», еще загадочный для России мир ее романтизма, и традицию швейцарской демократии и великой педагогической мысли первой европейской республики.

Одновременно Жуковский последовательно и настойчиво прорубал свое окно в Европу. В 1818 г. он как бы в педагогических целях издает четыре выпуска своего авторского альманаха «*Für wenige. Для немногих*», где en regard представляет русскому читателю лучшие образцы немецкой поэзии и предлагает свою интерпретацию их. Стихотворения Шиллера, Гете, Гебеля становятся зримым воплощением «диалога культур». Баллады Жуковского сделали этот жанр европейской поэтической культуры родным для русской словесности, почти фольклорным – каким он и был генетически в словесности западноевропейской. Происходит своеобразная приватизация европейской, античной, восточной (индийской, персидской) культур. Как скажет Александр Кушнер, «культурная работа по пересадке на русскую почву западной поэзии была настоящим подвигом. За двадцать лет мы получили то, на что должно было бы уйти лет двести» [11. С. 198].

Письма к царственным особам обладали огромным историософским потенциалом. В них учитель и наставник постоянно говорил о пользе истории для государей. Многие из этих писем переходили на страницы периодических изданий и органично соединяли имперский текст с общенациональным, общественным. Так последовательно формировалась не просто идеология, а именно культуртрегерство Жуковского. Всматриваясь в идеологию имперского, колониального текста, он лишает его ортодоксальности и метафизики.

В этом отношении дневник Жуковского приоткрывает и комментирует то, что он думал, но не мог сказать царственным особам. И это была не крамола, а позиция честного человека. Вот один лишь, но достаточно красноречивый пример. В мае – июне 1829 г. в составе свиты великого князя Жуковский приезжает в Варшаву, где должна была состояться коронация императора Николая I в качестве конституционного короля Польши. Контакты с деятелями польской

культуры, прежде всего с Юлианом Немцевичем и Адамом Мицкевичем, позволили ему эти официальные события сделать частью культурного диалога. В марте 1829 г. Мицкевич, находясь в Москве, составляет для Жуковского специальную «Заметку» с характеристикой деятелей польской литературы и общественной мысли, которая позволила русскому поэту войти в круг «варшавского либерализма» во время его пребывания в Варшаве.

По предложению Юлиана Немцевича он был избран членом Варшавского общества друзей наук, и польский поэт посвятил ему стихотворное послание, которое в переводе на русский звучит так:

Добродетелей и Наук почитатели, даже разделенные тысячами миль, всегда друзья, всегда земляки. Ты в блеске своей славы, я на склоне последних дней. Пишем, пока длится жизнь, для блага братских народов [12. С. 22].

В этом же году Жуковский переводит отрывок из поэмы Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» о народном предании и публикует его в «Собирателе». События ноября 1830 г. – 26 августа 1831 г., связанные с польским бунтом и его подавлением, вызвали к жизни два его стихотворения «Старая песня на новый лад» (или «На взятие Варшавы») и «Русская слава», которые, будучи опубликованы вместе с пушкинскими стихотворениями «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», стали выражением антипольских настроений и философии имперского духа. Казалось бы, Жуковский воплотил в них дух колониального сознания. Но дневниковая запись от 21 февраля 1831 г. раскрывает сложность позиции поэта. Вот ее общая концепция:

Получено известие о победе, стоившей дорого. Клич: взята, Варшава трепещет, войска поляков расстроены, скоро Польша будет раздавлена славою России. Минута решительная, которой нужно воспользоваться с величием, выгодною для настоящего и совершенною безопасностью для будущего. Три вида развязки представляют с первого взгляда. Или Польша не существует и обращена в губернию Русской империи, или Польша существует по-прежнему и Русский самодержавный Государь есть конституционный царь Польши, или Польша существует отдельно от России. На первое дает нам право победа и сила; но, уничтожив Польшу, мы вооружим против себя всю Европу и самых близких соседей своих; мы расширим границы свои, это правда, но приобретем таких подданных, которые останутся вечными врагами нашими. Надлежит власт-

воват притеснительно, дабы утвердить за собою области, не нужные для России; сие новое распространение усилит подозрительность Европы, видящей в России страшилище, грозящее ей рабством и варварством и предполагающей в ней замыслы честолюбия и всемирного владычества, тогда как сила ее заключается в образовании внутреннем. Наконец, самое уничтожение народа, сколь бы ни оправдано оно было успехом войны, есть нечто печальное и варварское, не приличное понятиям нашего времени и особенно не соответствующее твердому и высокому характеру Государя... [13. С. 315].

Не имея возможности полностью воспроизвести дневниковую запись Жуковского и дать развернутый комментарий к ней, констатируем два момента: постоянное обращение поэта к проблемам «внутреннего образования» России и стремление преодолеть догматику в осмыслении колониального, имперского текста. В истории духовного и творческого развития Жуковского 1827–1837 гг. – особый период. Поездка с братьями Тургеневыми в Париж и встречи с представителями французского либерализма, прежде всего Франсуа Гизо, работа над «Запиской о Н.И. Тургеневе», польские события и создание государственного гимна России, письмо к Бенкендорфу о гибели Пушкина и путешествие с наследником по России, проект амнистии декабристов – все это вносило существенные коррективы в идеологические построения и философию имперского текста. Официальная концепция, сформулированная в уваровской триаде «Самодержавие, православие, народность», получившая название «теория официальной народности», вряд ли могла пройти мимо внимания Жуковского, но не получила его непосредственного отклика. Охлаждение отношений с другом юности и арзамасцем, с 1833 г. министром народного просвещения С.С. Уваровым, возможно, произошедшее не без влияния Пушкина, – свидетельство неоднозначного отношения Жуковского к официальной имперской доктрине. Прежде всего, Жуковский не принимает ее догматики, поскольку каждая идеологема, составляющая триаду, осмысляется им как историческое понятие. Подтверждение тому – записи в дневнике, относящиеся именно к этому времени:

Бывают смутные времена в истории. <...> Народ возмущается; и всегда бывают беспокойные люди, которые доводят его до крайностей. Но настоящая причина всякого возмущения есть почти всегда само правительство. Будь оно благоразумно, пекись оно с пря-

модушием о благе народном, и в народе не будет расположения к возмущению, и никакой возмутитель не подумает волновать его, ибо он не будет надеяться на успех своего замысла, напротив, будет бояться привязанности народа к правителю. Где правитель любит народное благо, там народ любит власть правителя. Там власть есть благо [13. С. 302].

Проклятый едкий русский ум. Злой ум рабов, в которых никто не может внести развития.

Переменить слова в лексиконе нельзя, а уничтожить законное право можно; кто огласит эти противоречия.

Нам нужно достоинство национальное, чем более Государь будет возбуждать его, тем более будет развиваться любовь к Государю. Иначе она угаснет, а с нею ослабнет и сила самодержавия, а с силою самодержавия исчезнет и сила России [14. С. 9].

Власть царей происходит от Бога, а самовластие царей происходит от чërта [14. С. 12].

Народ, не имеющий литературы, – это ребенок, еще не научившийся говорить. <...> Для нас не было ни классической литературы, ни собственно народной: первой лишила нас греческая вера и татары; последняя почти вся погибла; теперь начинают добираться до народности, но и это подражание. <...> Вопрос: какою должна быть судьба России, если взять в рассуждение ее историю, ее политическую жизнь и характер ее народа? [14. С. 14].

Власть: свобода действовать произвольно и управлять чужими действиями.

Право: свобода действовать, утвержденная законом, без нарушения чужой законной свободы. Владение, определенное законом естественным и положительным [14. С. 30].

Философия и религия не только не исключают одна другую, но необходимы вместе. <...> Религия лежит на вере; философия вводит разумом принятое верою в жизнь [14. С. 37–38].

Наш народ составлен из множества зверей, сидящих каждый отдельно на цепи в клетке. Каждый сидит про себя и не заботится о своем товарище; они в одном балагане и кажутся одним обществом, но все порознь, и кажется готовы даже рвать своего товарища; спустить их всех с цепи, они разорвут и хозяина и перегрызут друг друга [14. С. 41].

Эти и многие другие дневниковые рассуждения Жуковского, нередко носящие характер афоризмов, не вписываются в рамки официальной идеологии. В контексте этих «мыслей и замечаний» Жуковский активно творит мир национальной культуры. Его «сказочное

соревнование» с Пушкиным в 1831 г., вызвавшее к жизни такие шедевры русской стихотворной сказки, как «Сказка о царе Берендее», «Спящая красавица», выход в свет двухтомного собрания «Баллад и повестей», явившегося продолжением и развитием идей «всемирной отзывчивости» и одновременно, вместе с «Повестями Белкина» Пушкина и «Вечерами на хуторе близ Диканьки» Гоголя, открывающими мир народности русской литературы, активное участие в создании первой национальной оперы «Жизнь за царя» М.И. Глинки, поистине героические усилия по сохранению и изданию пушкинского наследия, поддержка римской колонии русских художников, а затем формирование Эрмитажной коллекции живописи – все это та культуртрегерская деятельность Жуковского, без которой невозможно понять его место в истории русской словесной культуры и общественной мысли.

От идей «всечеловеческой отзывчивости» к философии «всемирной отзывчивости», от калокагативной концепции «возвышения души» к «феноменологии духа» – на этом пути духовного и творческого развития Жуковский никогда не забывал, что «слова поэта есть дела его».

Завершив свою педагогическую деятельность после женитьбы и отъезда в Германию, Жуковский переносит уроки политической педагогики на русское общество. Его публицистика 1840-х гг. – оригинальный эксперимент по созданию национальной идеи на основе опыта современной европейской жизни. Очевидец революционных событий в Германии, близкий друг и защитник известного политического деятеля, сторонника объединения Германии Йозефа Радовица, корреспондент прусского короля Фридриха Вильгельма IV, Жуковский в цикле своих статей, многие из которых были опубликованы на страницах русской и немецкой периодики, очертил круг острых вопросов, касающихся современного мироустройства и судьбы России. Его письма-статьи «Письмо к графу Ш-ку о происшествиях 1848 года», «Письмо русского из Франкфурта», «Письмо к кн. Вяземскому по поводу стихотворения “Святая Русь”», «Самоотвержение власти», «Энтузиазм и энтузиасты», «Письма к Н.В. Гоголю (“О смерти” и “О молитве”）」, «Что будет?», «Иосиф Радовиц», «Две сцены из Фауста», «О внутренней христианской жизни», «О меланхолии в жизни и в поэзии», «Энтузиазм и энтузиасты», «Русская и английская политика», «По поводу нападок немецкой прессы на Россию» были обращены не к конкретным лицам, хо-

тя нередко они вырастали из частных писем, и имя адресата присутствовало в печатном тексте. Подобно гоголевским «Выбранным местам из переписки с друзьями» они обрели статус публицистики, так как их читателем была вся мыслящая Россия [15. С. 254–275; 16. С. 139–148]¹.

События революции 1848 г., очевидцем и жертвой которых стал Жуковский, позволили ему как сквозь увеличительное стекло увидеть проблему «Россия и Запад». Носитель идей «всемирной отзывчивости», много сделавший как переводчик для пропаганды мировой культуры, он не мог превратиться в славянофила. Трезвое осознание последствий европейской цивилизации и злоупотребления демократическими реформами, приводящими к анархии и пролетаризации общества и как следствие – к революции, не сделали его западником. В отличие от идеологов официальной народности он рассматривал самодержавие и православие как развивающееся явление и предостерегал от их апологетики.

Одним из первых в русской общественной мысли Жуковский обратил особое внимание на опасность исключения из понятия «народ» высшего и среднего класса, следования доктрине новейшей философии: *la propriété c'est le vol* (собственность – кража). «Толпа пролетариев, которым нужно иметь *чужое*, дабы иметь что-нибудь *свое*» – так Жуковский формулирует новую социальную реалию современной истории, ведущую к разрушению не только порядка, но и нравственных основ государственного бытия [18. С. 539]. Эта опасность пролетаризации общества обостряет в рассуждениях Жуковского проблему крепостного права в России. «У нас еще нет пролетариев – пишет он, – есть *искусственные* пролетарии; но правительство, которое само произвело их, может легко их уничтожить» [18. 545]. Очевидно, что «искусственные пролетарии» в лексиконе автора письма – это крепостные крестьяне, рекруты, оторванные от земли, и Жуковский акцентирует роль правительства в этом процессе пролетаризации русского общества. Показательно, что именно в 1848 г. Николай I образует Комитет по выкупу крепостных крестьян, но все-таки не решается на радикальные меры по их освобождению. Голос Жуковского не был услышан нынешним правительством, но он не мог не проникнуть в сознание наследника престола.

¹ Не имея возможности подробно говорить о восприятии этих статей и дискуссиях, порожденных ими в России, отсылаю читателей к комментариям в XI томе Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского [17. С. 621–988].

В своих эпистолярных трактатах Жуковский выступает как серьезный аналитик происходящих событий, но главный пафос его разговора с великими князьями и современниками – утверждение самобытного пути России. Не идеализируя российскую историю, подчеркивая «наше неразвитие», т.е. отсутствие «всеобъемлющей образованности», Жуковский говорит о необходимости сохранения «основных начал» для достижения как истинной образованности, так и благоденствия. «Для нее, – пишет он в заключение своего послания к наследнику от 4 (16) июня 1848 г., – к тому два средства: с одной стороны, *развитие церкви*, с другой – *развитие самодержавия*» [18. С. 557].

Мнение о консерватизме Жуковского-историка и публициста стало общим местом. Но это был своеобразный консерватизм, можно даже сказать, революционный. Опираясь на европейский опыт революций, он формировал образ Святой Руси, православной и самодержавной, но настойчиво подчеркивал *развитие* как церкви, так и самодержавия. Это развитие включало столь необходимые реформы, связанные с образованием общества, отменой крепостного права, амнистией декабристов, освобождением от религиозной догматики. И то, что эти свои идеи он развивал в письмах к будущим реформаторам – великим князьям Александру Николаевичу и Константину Николаевичу, заслуживает самого пристального внимания и исследования. Но не менее важно и то, что с ведома царственных особ фрагменты этих эпистолярных посланий становились достоянием русской читающей публики. Так произошло со статьей «Письмо Русского из Франкфурта». Она является выпиской из письма Жуковского великому князю Александру Николаевичу от 17 (29) февраля 1848 г. Как удалось установить А.И. Рейтблату, этот текст был прислан в III отделение от великого князя с указанием поместить в газете «Северная пчела» [19. С. 551]. Уже в самом начале революционных событий Жуковский остро поставил проблему особого, своего пути развития России, и великий князь почувствовал важность и своевременность этого разговора. «Русский из Франкфурта» писал:

<...> мы будем ни Азия, ни Европа, мы будем Россия, самобытная, могучая Россия, не бот, прицепленный к кораблю Европейскому, а крепкий Русский корабль первого ранга, отдельно от других, под своим флагом плывущий путем своим [20. С. 226].

Хотя статья была напечатана анонимно, но для друзей Жуковского и просто проницательных читателей вряд ли стоило труда определить ее автора: подсказка содержалась уже в заглавии: русский поэт в это время жил именно во Франкфурте, о чем было хорошо известно не только его близкому окружению.

Важно подчеркнуть, что художественные открытия Жуковского как политического публициста и религиозного мыслителя неразрывно связаны с идеями и формами времени. Поздняя публицистика Жуковского находится в контексте идеологической борьбы западников и славянофилов в России и революционных событий 1840-х гг. в Европе. Как и его современники, он формирует в общественном сознании характерные особенности «русской идеи», пафосом которой станет мысль о том, «как обустроить Россию». Вслед за «Философическими письмами» Чаадаева, в контексте «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, религиозных идей Хомякова, полемики о путях развития России, он своим переводом «Одиссеи», публикациями статей о «происшествиях 1848 года» и замыслом книги прозы активно включается в этот процесс.

Имперский текст Жуковского невозможно рассматривать узко и односторонне как некое собрание высказываний на общественно-политическую тему, раскрывающих его суждения о самодержавии и политике императора Николая I. Для него как великого русского поэта важно было сделать его органической частью мировой культуры. Беспрецедентная переводческая деятельность способствовала не просто диалогу культур, но и усвоению русским сознанием идей «всемирной отзывчивости». Воспитание наследника русского престола рассматривалось им не только как служба при дворе, но и как высокая миссия сотворения просвещенной монархии и внедрения идей либерализма.

Завершая свою статью «О поэте и современном его значении», Жуковский цитирует стихи из собственной драматической поэмы «Камознс», вводя тем самым рассуждения о поэте не только в мир эстетический, но и в мир социальный. Кто есть поэт, хорошо известно, но мысль о «современном значении» поэта именно в России подчеркивает неразрывную связь эстетики русского романтика с нравственной нормой и идеалом социального устройства общества; таким образом, поэзия становится неотъемлемой составляющей идеологического конструктора Жуковского, основанного на тезисе «развития самодержавия и православия»:

Поэзия религии небесной
Сестра земная, светлоручезарный
Маяк, самым создателем зажженный,
Чтоб мы во тьме житейских бурь не сбились
С пути. Поэт, на пламени его
Свой факел зажига! <...>
Таков удел
Всего, всего прекрасного земного!..
Но не умрет живая песнь твоя:
Во всех веках и поколениях будут
Ей отвечать возвышенные души...
Поэт, будь тверд! душою не дремли!
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли [21. С. 382–383].

Литература

1. *Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений: в 13 т. М.: АН СССР, 1955. Т. 7. С. 469.
2. *Зайцев Б.К.* Собрание сочинений: в 3 т. М.: Терра, 1993. Т. 3. С. 338.
3. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 1999. Т. 1. С. 383.
4. *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: в 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937. Т. 13. С. 79.
5. *РО ИРЛИ.* Ф. 309. № 4713-а.
6. *Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу.* М.: Изд. «Русского архива», 1895. С. 162–163.
7. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2000. Т. 2. С. 235.
8. *Янушкевич А.С.* Письма В.А. Жуковского к царственным особам как феномен русской словесной культуры и общественной мысли // Жуковский: Исследования и материалы: сб. науч. тр. Томск, 2013. Вып. 2. С. 45–76.
9. *Батюшков К.Н.* Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 2. С. 325.
10. *Жуковский В.А.* Собрание сочинений: в 4 т. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. Т. 4. С. 625.
11. *Кушнер А.* Аполлон в снегу: Заметки на полях. Л.: Сов. писатель, 1991. С. 198.
12. *Ланда С.С.* Ю.У. Немцевич и В.А. Жуковский // Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л., 1962. Вып. 1. С. 22.
13. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 13. С. 315.
14. *Жуковский В.А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2004. Т. 14. С. 9.
15. *Гузаиров Т.* Русский за границей (Жуковский: 1841–1849) // Пушкинские чтения в Тарту. Тарту, 2004. Вып. 3. С. 254–275.
16. *Долгушин Д.В.* «Весь этот том будет проза...»: (К истории неосуществленного замысла сборника религиозно-философской прозы В.А. Жуковского) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2011. Т. 10, № 8. С. 139–148.

17. Лебедева О.Б., Янушкевич А.С., Ветшева Н.Ж., Березкина С.В., Киселев В.С., Жиликова Э.М., Гузаиров Т.Т., Айзикова И.А., Поплавская И.А., Долгушин Д.В., Никольнова Н.Е. Примечания // Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2016. Т. 11 (1-й полумом). С. 621–988.

18. Жуковский В.А. Сочинения: в 6 т. / под ред. П.А. Ефремова. 8-е изд., СПб., 1885. Т. 6. С. 539.

19. Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф.В. Булгарина в III отделение / изд. подгот. А.И. Рейтблат. М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 551.

20. *Северная пчела*. 1848. № 57. 12 марта. С. 226.

21. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2012. Т. 12. С. 382–383.

FEATURES OF V.A. ZHUKOVSKY'S IMPERIAL TEXT: IDEOLOGY AND CULTURAL ENLIGHTENMENT

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 77–92. DOI: 10.17223/24099554/7/5

Aleksandr S. Yanushkevich, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: asyanush50@yandex.ru

Keywords: Zhukovsky, poetry, letters, diary, journalism, imperial text, ideology, cultural enlightenment.

V.A. Zhukovsky is an exemplary representative of the imperial text of Russian culture. All his poetic, pedagogical and social activities, almost a 25-year life at the royal court and dialogue with the authorities marked the semiosphere of this concept. The poetic trilogy of young Zhukovsky (“The Song of the Bard over the Coffin of the Slavic Winners” (1806), “The Singer in the Camp of the Russian Warriors” (1812) and “The Singer in the Kremlin” (1814–1816)) marked a new view on the problem of civic poetry. His epistle “To Emperor Alexander” (1814) marked the orientation to a dialogue with the authorities, the self-determination of the poet as the spokesman of the national consciousness.

In 1817, Zhukovsky’s service at the court began; he regarded it as a culture triggering mission. More than 300 letters to the royal people contain the most important events of Russian and European history from the Napoleonic wars, the Decembrist uprising on 14 December 1825 to the revolution of 1848 in Germany. They are also a behavioural gesture, a word in defence of the persecuted, the humiliated, the unjustly accused. In these letters, the teacher and mentor constantly spoke about the usefulness of history for rulers. Many of these letters were published in periodicals, and organically combined the imperial text with the national one.

Having completed his pedagogical activities after his marriage and departure to Germany, Zhukovsky gives lessons of political pedagogy to Russian society. His journalism in the 1840s is an original experiment to create a national idea based on the experience of modern European life. The bearer of the ideas of “world-wide responsiveness”, who did a lot as a translator for the propaganda of the world culture, Zhukovsky could not turn into a Slavophile. A sober realisation of the consequences of European civilization and of the abuse of democratic reforms leading to anarchy and proletarianisation of society and, as a consequence, to the revolution did not make him a Westerner. Unlike the ideologists of the official nationality, he viewed autocracy and Orthodoxy as a developing phenomenon and warned against their apologetics.

References

1. Belinskiy, V.G. (1955) *Polnoe sobranie sochineniy: V 13 t.* [Complete Works: in 13 vols]. Vol. 7. Moscow: USSR AS.
2. Zaytsev, B.K. (1993) *Sobranie sochineniy: V 3 t.* [Works: in 3 vols]. Vol. 3. Moscow: Terra.
3. Zhukovskiy, V.A. (1999) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 1. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
4. Pushkin, A.S. (1937) *Polnoe sobranie sochineniy: V 17 t.* [Complete Works: in 17 vols]. Vol. 13. Moscow; Leningrad: USSR AS.
5. Manuscript Department of Institute of Russian Literature. Fund 309. Unit 4713-a. (In Russian).
6. Russian Archive. (1895) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters of V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow: Izdanie "Russkogo arkhiva".
7. Zhukovskiy, V.A. (2000) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 2. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
8. Yanushkevich, A.S. (2013) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k tsarstvennym osobam kak fenomen russkoy slovesnoy kul'tury i obshchestvennoy mysli* [Letters of V.A. Zhukovsky to the royal people as a phenomenon of Russian verbal culture and social thought]. In: *Zhukovskiy: Issledovaniya i materialy. Sbornik nauchnykh trudov* [Zhukovsky: Studies and materials]. Vol. 2. Tomsk: Tomsk State University. pp. 45–76.
9. Batyushkov, K.N. (1989) *Sochineniya: V 2 t.* [Works: in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
10. Zhukovskiy, V.A. (1960) *Sobranie sochineniy: V 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 4. Moscow; Leningrad: GIKhL.
11. Kushner, A. (1991) *Apollon v snegu: Zametki na polyakh* [Apollo in the snow: Notes on the fields]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
12. Landa, S.S. (1962) Yu.U. Nemtsevich i V.A. Zhukovskiy [Yu.U. Nemtsevich and V.A. Zhukovsky]. In: *Pushkin i ego vremya. Issledovaniya i materialy* [Pushkin and his time. Research and materials]. Vol. 1. Leningrad: State Hermitage.
13. Zhukovskiy, V.A. (2014) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 13. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
14. Zhukovskiy, V.A. (2004) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 14. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
15. Guzaïrov, T. (2004) *Russkiy za granitsey (Zhukovskiy: 1841–1849)* [A Russian abroad (Zhukovsky: 1841–1849)]. In: *Pushkinskie chteniya v Tartu* [Pushkin readings in Tartu]. Vol. 3. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. pp. 254–275.
16. Dolgushin, D.V. (2011) "Ves' etot tom budet proza..." (K istorii neosushchestvlennoy zamysla sbornika religiozno-filosofskoy prozy V.A. Zhukovskogo) ["This whole volume will be prose . . ." (To the history of the unrealised design of the collection of religious and philosophical prose of V.A. Zhukovsky)]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya – Bulletin of Novosibirsk State University. Series: History, Philology*. 10:8. pp. 139–148.

17. Lebedeva, O.B. et al. (2016) Primechaniya [Notes]. In: Zhukovskiy, V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 11 (Part 1). Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

18. Zhukovskiy, V.A. (1885) *Sochineniya: V 6 t.* [Works: in 6 vols]. 8th ed. Vol. 6. St. Petersburg: Izdanie knigoprodavtsa Glazunova.

19. Reytblat, A.I. (ed.) (1998) *Vidok Figlyarin: Pis'ma i agenturnye zapiski F.V. Bulgarina v III otделение* [Vidok Figlyarin: Letters and agent notes of F.V. Bulgarin to the III Department]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

20. *Severnaya pchela*. (1848). 57. 12 March. pp. 226.

21. Zhukovskiy, V.A. (2012) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 12. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

О.Б. Лебедева

**НАЦИОНАЛЬНОЕ, ИМПЕРСКОЕ, КОЛОНИАЛЬНОЕ
КАК ФАКТОР ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:
ПОСЛАНИЕ В.А. ЖУКОВСКОГО «К ВОЕЙКОВУ»**

В рамках синтетической жанровой структуры послания Жуковского «К Воейкову» (1814), в котором очевидны жанровые ассоциации стихотворного эпоса, торжественной похвальной оды, мотивы былинного фольклора, литературные реминисценции древнего национального эпоса и объективные дескрипции, близкие типологии топографически и исторически достоверного миропобраза, заряженного мощным ассоциативным потенциалом воспоминаний об этапах становления государства Российского в его национально-освободительной и завоевательно-колониальной батальной истории, объединяющим началом становится субъективно-лирическая рефлексия медитативной элегии, подчиняющая их одной доминанте: все эти жанровые, фольклорные, литературные и исторические ассоциации репрезентированы как своего рода «ландшафт моих воображений», картина духовного мира поэта-человека-современника своей исторической эпохи.

Ключевые слова: Жуковский, национальный стихотворный эпос, лирика, послание, «К Воейкову», элегичность, субъективность.

Вторая половина 1800–1810-х гг. для Жуковского прошла под знаком постоянной работы над замыслом национальной эпической волшебного-исторической поэмы «Владимир»: вероятно, Жуковский окончательно отказался от его реализации только после появления поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» и знаменитого «Победителю-ученику...» (1820). Но при том, что этот замысел хорошо известен по документальным и архивным материалам (последние ныне опубликованы в четвертом томе Полного собрания сочинений и писем [1. С. 365–370] с комментарием Н.Ж. Ветшевой [2. С. 609–621]), его мировоззренческое значение до сих пор остается неосмысленным – равно как и судьба стихотворного героического, исторического и батального эпоса в русской литературе Нового времени, относительно которого хорошо известно, что от самого своего начала и вплоть до середины 1810-х гг. русская литература Нового времени была телеологически нацелена на национальный стихотворный эпос: все профессиональные писатели XVIII – первой трети XIX в. начиная от Кантемира и Ломоносова пытались написать эпическую поэму и в

лучшем случае останавливались на первой песне, а в худшем – создавали тексты, становившиеся анахронизмом прямо в момент своего появления на свет и потому неспособные пережить свою эпоху («Россияда» Хераскова) или вызывавшие злые насмешки своим низким эстетическим качеством (ср. эпиграммы Батюшкова на поэмы Р. Сладковского «Петр Великий», 1803; кн. С. Ширинского-Шихматова «Петр Великий», 1810; А. Грузинцева «Петриада», 1812:

Какое хочешь имя дай
Твоей поэме полудикой:
Петр длинный, Петр большой, но только Петр Великой –
Ее не называй.

Не странен ли судеб устав!
Певцы Петра – несчастья жертвы:
Наш Пиндар кончил жизнь, поэмы не скончав,
Другие живы все, но их поэмы мертвы! [З. С. 246–247].

Между тем совершенно очевидно, что стихотворная эпопея, независимо от того, к какой жанровой разновидности она принадлежит – батальная («Илиада», «Генриада»), жизнестроительная («Одиссея», «Энеида»), волшебнo-рыцарская («Неистовый Роланд», «Освобожденный Иерусалим») или колониальная («Лузиады»), это, по определению, жанр апологетический в отношении власти (в том числе императорской) и государства, оформление идеи которого в креативном сознании маркировано отнесенными к определенной исторической эпохе и определенной личности властителя актами национального самоопределения и административно-территориального (империального) оформления государственности в политике расширения границ и завоевания новых территорий. С этой точки зрения несомненным является тот факт, что вся ранняя история русского Нового времени (XVIII – первая треть XIX в.), характеризующаяся именно этими политическими, а вслед за ними и ментальными процессами начиная с эпохи государственных преобразований Петра I и до наполеоновских войн, буквально взывала к русской литературе об адекватном жанровом воплощении изменений в характере национального самосознания и структуре русской государственности, стремительно эволюционировавшей к имперско-колониальному типу за счет завоевательных кампаний XVIII в. и национально-освободительной войны начала XIX в.

Тем не менее стихотворный эпос – это не тот жанр, который можно счесть удавшимся русской литературе. И не претендуя на то, чтобы объяснить этот парадоксальный факт, рискну высказать предположение об одной из возможных причин такого положения вещей: появлению национальной стихотворной эпической поэмы достаточно высокого эстетического уровня воспрепятствовала идеология персонализма, усвоенная русской культурой Нового времени в процессе ее европеизации и пришедшая вразрез с традиционно деспотическим характером русской государственности. До тех пор, пока новое национальное сознание и геополитическое положение России не стало фактором личной жизни россиянина, иными словами, пока эти новшества не интериоризировались в индивидуальном самосознании – сначала креативном, а затем в массовом, эпос был обречен на неудачу. Когда же процесс интериоризации завершился, эпический жанр претерпел мощную трансформацию за счет вторжения в него лирического начала, размывшего официальный пафос эпической поэмы на национально-исторический героический сюжет и сделавшего этот пафос «осердеченной идеей», т.е. эмоцией частного человека.

До некоторой степени процесс интериоризации геополитики и становления ее факторов фактом личной жизни частного человека может вполне репрезентативно представить один из текстов В.А. Жуковского – вслед за Карамзиным последовательного государственника в идеологической позиции, но при этом одного из самых самосознающих лириков русской литературы, а именно послание «К Воейкову» (1814), хорошо известное колониальной геопозтике как один из первых образцов «кавказского текста» русской литературы, но совершенно не осмысленное как репрезентативный текст интериоризации геополитических новшеств русской империи и выработки нового национального самосознания, включающего высшие уровни геополитики в личную жизнь отдельно взятого человека и тем самым создающего интимный контакт индивида с государством.

Особое место этого текста в творческом наследии Жуковского, написавшего множество дружеских посланий – жанра, принадлежащего к области так называемой «домашней поэзии» и тем самым относимого именно к личной жизни частных людей, адресата и адресанта, маркировано его датой: Жуковский датировал весьма обширный текст, над которым он, несомненно, работал не один день,

днем своего рождения: 29 января 1814 г. Этой же датой озаглавлено лиричнейшее стихотворение, обращенное к его возлюбленной, М.А. Протасовой, и при жизни Жуковского не напечатанное, в отличие от дружеского послания «К Воейкову», которое, будучи опубликовано с датой «29 января 1814» и подписью поэта «Жуковский» [4. С. 97–106], стало манифестом двух на первый взгляд противоположных интенций: с одной стороны, в тексте послания предельно акцентировано личное автобиографическое начало, с другой – сам факт его публикации делает эту личную жизнь фактором духовной жизни всей читающей России.

Творческая история послания Жуковского неразрывно связана с замыслом поэмы «Владимир», о котором дружеский круг автора был хорошо осведомлен: Жуковский был эпицентром арзамасских дискуссий о жанре «русской поэмы» как форме национального самосознания и основным кандидатом на роль ее творца [5. С. 67–76]. «Все тебе прощу, если напишешь поэму...» – убеждал К.Н. Батюшков в письме к Жуковскому [6. С. 382–383]. И само послание Жуковского явилось ответом на призыв А.Ф. Воейкова, высказанный в его послании «К Жуковскому», опубликованном в журнале «Вестник Европы» в марте 1813 г. [7. С. 26–30]):

Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю, –
Будь наш Виланд, Ариост, Баян! [8. С. 278].

Жанрово-тематическая композиция послания Жуковского складывается на нескольких структурных уровнях. Это *дружеское послание* (частная жизнь, малая родина), *одический географический мир* (большое отечество), репрезентированный через биографию адресата, *реминисценции национально-освободительных войн* (половцы, татаро-монголы, Наполеон), колониальные и фольклорные мотивы (картины Кавказа, русский былинный эпос), *творческая лаборатория поэта-романтика* (реминисценция старинной повести в двух балладах «Двенадцать спящих дев», эскиз образности замысленной поэмы «Владимир»): нетрудно заметить, что на всех этих уровнях лирические и эпические элементы структуры находятся в постоянном взаимодействии. И композиционным стержнем послания становится структура лирического субъекта, соединяющего в себе частного человека, гражданина своей страны и поэта.

Прежде всего обращает на себя внимание нетипичный сюжет, выбранный Жуковским и выпадающий из традиции незавершенного

или неуспешного стихотворного эпоса XVIII – первой трети XIX в., в основном связанного с именем и царствованием Петра I: обращение к полулегендарной, полуисторической личности киевского князя Владимира, которого и сам поэт, и его современники сравнивали с Готфридом Бульонским и Карлом Великим. Ср. высказывание Жуковского в письме к А.И. Тургеневу от 12 сентября 1810 г.: «Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его те рыцари, которые были при дворе Карла <...>» [9. С. 62]; у Воейкова: «А Владимир – русско солнышко, // Наш Готфред или Великий Карл» [8. С. 278], а также в рецензии Д.Н. Блудова на старинную повесть в двух балладах «Двенадцать спящих дев» (подлинник по-французски):

Наш Владимир Великий так же, как Карл Великий, имеет привилегию быть, так сказать, двойным персонажем, и если когда-нибудь Россия произведет нового Ариоста, он сможет воспользоваться и слишком коротким рассказом Нестора, и всеми народными вымыслами, относящимися к имени Владимира [10. Р. 325–326].

Этот сюжет не только давал возможность широкого использования как исторических материалов, так и национального фольклора, прежде всего былинного эпоса и славянской мифологии – он еще и соединялся множеством смысловых ассоциативных параллелей со всеми ключевыми эпохами становления русской ментальности и российской государственности (от принятия христианства до апогея национального самосознания и гражданской экзальтации первых десятилетий XIX в.). Сам Жуковский преследовал очень определенную цель, которую можно назвать стремлением к национальной самоидентификации, которая осуществилась бы в фольклорном, историческом и персональном духовном пространстве: «<...> особенно буду следовать за образованием русского характера, буду искать в ней [истории] объяснения настоящего морального образования русских» [9. С. 59].

Соответственно этой цели в эскизном наброске сюжета поэмы в пределах послания возникают батальные мотивы, основополагающие как в истории, так и в былинном эпосе Древней Руси. Первый из них – войны с половцами – определяет представление поэта о первоначальном национально-территориальном становлении Русского государства:

Я вижу древни чудеса:
Вот наше солнышко-краса
Владимир-Князь с богатырями;

Вот Днепр кипит между скалами;
Вот златоверхий Киев град;
И бусурманов тьмы, как пруги,
Вокруг зубчатых стен кипят <...> [1. С. 311].

Второй батальный мотив – гуманистические подвиги русских богатырей – вызван стремлением Жуковского проследить истоки национального характера, основу формирующегося несколько позже в его переводном и оригинальном творчестве характера неэгоистического героя, принципиально важного для русского романтизма: через несколько месяцев после создания послания поэт приступит к работе над второй частью «Двенадцати спящих дев», балладой «Вадим», которая в его черновиках и эпистолярной фигурирует под условным названием «Искупитель», а вскоре после отказа от замысла поэмы «Владимир» переведет поэму Байрона «Шильонский узник» и фрагмент поэмы Т. Мура «Лалла-Рук» («Пери и ангел»). И, конечно, не случайно из всего набора имен былинных богатырей Жуковский выбрал для своего персонажа в послании имя с ярко выраженной внутренней формой:

Вот, дивной облечен броней,
Добрыня, богатырь могучий,
И конь его Златокопыт;
Чрез степи и леса дремучи
Не скачет витязь, а летит,
Громя Зилантов, и Полканов,
И ведьм, и чуд, и великанов <...>
Там бьется с бабою-ягой;
Там из ручья с живой водой,
Под стражей змея шестиглава,
Кувшином черпает златым;
Там машет дубом перед ним
Косматый людоед Дубыня;
Там заслоняет путь Горыня <...> (курсив мой. – О.Л.) [1. С. 311–312].

Совершенно закономерно этот фрагмент послания увенчан двумя литературными реминисценциями, если можно так назвать возникающий в послании словесно-образный мотив еще не осуществленного замысла; обе имеют прямое отношение к творческой лаборатории поэта, маркируя одновременно и жанр, и идеологический пафос как поэзного замысла, так и исторической концепции

Жуковского в том, что касается основ национального самосознания и национальной государственности. Это реминисценция плача Ярославны из «Слова о полку Игореве», которое Жуковский переведет в 1817 г.:

О ветер, ветер! что ты вьешься?
Ты не от милого несешься,
Ты не принес веселья мне <...>
Стрелу пернатую отвей
От друга-радости моей [1. С. 312],

и сюжета баллады «Вадим» (второй, еще не написанной к этому времени части «Двенадцати спящих дев»):

Пред ним чернеет лес ужасный.
Сияет блеск вдали прекрасный;
Чем ближе он – тем дале свет <...>
Красою белые колпицы,
Двенадцать дев к нему идут
И песнь приветствия поют <...> [1. С. 312].

Однако древнерусский батальный эпос «Слова» и гуманистический характер становящегося романтического героя-искупителя и освободителя органично соотносятся не только с замыслом и эскизом национального стихотворного эпоса: напомним, что послание пишется в начале 1814 г., в самом разгаре заграничной фазы русско-наполеоновских войн. И этот современный батальный эпос тоже находит свое отражение в послании Жуковского, но уже не в объективно-повествовательном, а в интимно-лирическом ключе: мотивы воспоминаний о войне 1812 г. введены в послание через биографию адресата: так же, как и Жуковский, Воейков принял участие в Отечественной войне:

Ты был под знаменами славы; –
Ты видел, друг, следы кровавы
На Русь нахлынувших врагов,
Их казнь и ужас их побега:
Ты, строя свой бивак из снега,
Себя смиренью научал <...>.
С смиреньем отдал ты поклон
Жилищу Вихря-Атамана <...> [Платова];
И витязи под сединами
Соотчикам в чужой земле
«Ура!» кричали за тобою [1. С. 306, 310].

Но если Жуковский, покинув действующую армию, удалился в родные пенаты, то Воейков предпринял длительное путешествие по южным губерниям России: расстроенные имения древнего дворянского рода Воейковых находились на юге Саратовской губернии, недалеко от Сарепты, колонии немцев-евангелистов, основанной в 1765 г. вблизи Царицына; ранее Сарепта принадлежала к одному из северных уездов Астраханской губернии, бывшего Астраханского ханства, присоединенного к Московскому государству в 1557 г. Оттуда Воейков совершил путешествие к развалинам Шери-Сарая, древней столицы Золотой Орды, позднее описанное им в очерке «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая» (опубликован в журнале «Новости литературы», 1824, т. 9), и далее – на Кавказ. Очевидно, именно устные рассказы Воейкова об этом путешествии и послужили фактической основой мотивно-сюжетной структуры этой композиционной части послания Жуковского:

*Ты видел Азии пределы;
Ты зрел ордынцев лютых край
И лишь обломки обгорелы
Там, где стоял Шери-Сарай,
Батяня древняя обитель;
Задумчивый развалин зритель,
Во днях минувших созерцал
Ты настоящую картину
И в них ужасную судьбину
Батяня новых дней читал.
В Сарепте зрелище иное:
Там братство христиан простое <...>
Ты зрел, как в тишине семей <...>
Там девы простотой счастливы,
А юноши трудолюбивы
От бурных спасены страстей <...>.*

*Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел <...>.
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавой.
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой <...>
Ты видел Дона берега;
Ты зрел, как он поил шелковы
Необозримые луга,
Одушевленны табунами;
Ты зрел, как тихими водами
Меж виноградными садами
Он, зеленея, протекал <...>*

[1. С. 306–310].

Не оценивая имагологическое достоинство этого описания воображаемых, но визуально незнакомых Жуковскому пространств и значимость впервые в русской литературе конкретизированного в географически-бытовом отношении образа колонизированного Кавказа, хочу обратить внимание на то, что все топонимы и антропонимы, упомянутые в этом фрагменте послания, создают мощное

ассоциативное поле потенциальной рефлексии об историческом складывании государственных границ и формировании территории современной двум поэтам России в ходе ее национально-освободительных войн (от Батыя до Наполеона) и завоевательных кампаний – от эпохи Ивана Грозного (ознаменованной присоединением Астраханского и Казанского ханства, Западной Сибири и Области Войска Донского) до увенчавшего русско-персидскую войну 1803–1813 гг. Гюлистанского договора, по которому к России перешли частично посещенные Воейковым Картли, Кахетия, Мегрелия, Имеретия, Гурия, Абхазия, а также некоторые закавказские территории, в частности Дербент.

Хотя Дербент в послании Жуковского не упомянут прямо, этот топоним, способный вызвать сравнительно недавние воспоминания об очередной колониальной инициативе русской власти (русско-персидской завоевательной кампании 1796 г.), все же присутствует в ассоциативном плане послания на уровне нарративной стратегии фрагмента, посвященного путешествию Воейкова. Если впечатления Воейкова послужили фактической основой имагологического этюда в композиции послания, то моделью его эстетической организации в анафорических зачинах «Ты зрел...», «Ты видел...» стала знаменитая ода Державина «На возвращение графа Зубова из Персии»:

О юный вождь! Сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы <...>
Ты зрел – как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов <...>
Ты видел – Каспий, протягаясь,
Как в камышах, в песках лежит <...>
Ты видел – как во тьме секутся
С громами громы в облаках <...>
Ты видел – как в степи средь зною <...>
Огромных змей стога кишат <...>
Ты дома зрел царей, – вселенну,
Внизу, вверху, ты видел всё <...> [11. С. 274–275].

Вероятно, нет необходимости специально акцентировать внимание на том, что эта эстетическая ориентация на поэтику торжественной оды вводит в дружеское послание Жуковского целый ряд ассоциативных идеологем, с одой XVIII в. неразрывно связанных:

еще один апологетический жанр, адресованный верховной власти и имеющий своей предпочтительной тематикой воспевание побед русского оружия в завоевательных кампаниях колониальной политики русских императоров начиная с ломоносовской оды на взятие Хотина. Заметим только, что Валериан Зубов, главнокомандующий в Русско-персидской войне 1796 г., предпринятой во исполнение химерического проекта Платона Зубова – завоевать всю Переднюю Азию до Тибета, прославился именно взятием Дербента. Война 1796 г. не принесла России ничего особенного – Дербент был присоединен только по Гюлистанскому договору. Но любопытно, что прекративший эту кампанию Павел I разослал приказ о выводе войск из Закавказья командирам отдельных частей, а главнокомандующего и его штаб не поставил об этом в известность, оставив их без защиты с перспективой позорного плен. Но этого не случилось, поскольку атаман Платов, будущий герой Отечественной войны 1812 г. вопреки высочайшему повелению остался охранять Зубова и генералитет со своими казаками. Таким образом, личность Платова, участника войн 1796 и 1812 гг., выступает персонифицированным связующим звеном русской военной истории, которая в послании репрезентирована как часть личных биографий участников Отечественной войны 1812 г. Воейкова и Жуковского.

Но самое главное то, что в послании Жуковского эти два эпизода, имагологический и связанный с творческой лабораторией поэта, объемлющие в своем единстве практически всю историю государства Российского от былинного князя Владимира до «Батя наших дней» – Наполеона, эти субъективированный креативно-эстетический образ творческого замысла и объективный эпохально-исторический образ биографии современника на фоне большой истории государства Российского, оба заряженные мощным ассоциативным потенциалом, вписаны в традиционный для дружеского послания автобиографически-автопсихологический и даже, можно сказать, интимно-родственный контекст. Структурным стержнем рефлексии о жизненном пути друга-поэта Воейкова и о замысле эпической поэмы Жуковского становится обрамляющая весь текст послания лирическая медитация. Послание «К Воейкову» открывается картиной домашней жизни поэта в его бытовой человеческой ипостаси:

Поставь в мой угол посох свой
И умиленную мольбой
Почти домашнего Пената.
Садись – вот кубок! в честь друзьям!
И сладкому воспоминанью,
И благотворному свиданью,
И нас хранившим небесам! [1. С. 306].

Сюжетно-композиционной цезурой, разделяющей выдержанное в ассоциативно-одических тонах описание путешествия Воейкова и очерк замысла национального стихотворного эпоса, вновь становится субъективно-лирический автобиографический и автопсихологический эпизод воспоминаний о прошлом, о временах молодости и дружеского общения:

Теперь ты случая рукою
В обитель брата приведен,
С ним вспомнишь призраки златые
Невозвратимых тех времен,
Когда мы – гости молодые
У милой Жизни на пиру –
Из полной чаши радость пили
И *счастье наше!* говорили
В своем пророческом жару <...> [1. С. 310].

И наконец, увенчивают послание Жуковского размышления о будущем: хорошо известно, что поэт ставил успех или неуспех своей работы над замыслом национального волшебного-исторического стихотворного эпоса в прямую зависимость от исполнения или неисполнения своих надежд на личное семейное счастье с любимой женщиной:

Когда, мой друг, тебе я сам
Ее в веселый час подам
И ты прочтешь в ней небылицы,
За былъ рассказанные мной,
То знай, что счастлив жребий мой,
Что под надзором providенья,
Питаясь жизнью в тишине,
Вблизи всего, что мило мне,
Я на крылах воображенья,
Веселый здесь, в тот мир летал
И что меня не покидал
Мой верный ангел вдохновенья <...>

Но, друг, быть может... как узнать?..
Она останется пустая,
И некогда рука чужая
Тебе должна ее отдать
В святой залог воспоминанья,
Увы! и в знак, что в жизни сей
Милейшие души моей
Не совершились желанья [1. С. 313].

Таким образом, в рамках синтетической жанровой структуры послания Жуковского, в котором очевидны жанровые ассоциации стихотворного эпоса, торжественной похвальной оды, мотивы былинного фольклора, литературные реминисценции древнего национального эпоса и объективные дескрипции, близкие типологии топографически и исторически достоверного мирообраза, заряженного мощным ассоциативным потенциалом воспоминаний об этапах становления государства Российского в его национально-освободительной и завоевательно-колониальной батальной истории, началом, которое объединяет эти разнородные жанровые ассоциации, становится субъективно-лирическая рефлексия медитативной элегии, подчиняющая их одной доминанте: все эти жанровые, фольклорные, литературные и исторические ассоциации репрезентированы как своего рода «ландшафт моих воображений», картина духовного мира поэта-человека-современника своей исторической эпохи.

Послание Жуковского «К Воейкову» традиционно считается конспектом неосуществленной поэмы «Владимир». А.Н. Веселовский [12. С. 491–493] и А.Н. Соколов [13. С. 398–399] полагали, что ответ Жуковского на призыв Воейкова создать национальную эпическую поэму дает представление о стилистике этого не воплощенного в тексте замысла. И это справедливое мнение авторитетных исследователей истории русского стихотворного эпоса Нового времени необходимо уточнить только в одном аспекте: представление о стилистике и жанровой структуре назревающей в послании жанровой модели будущего русского стихотворного эпоса дает не столько тот фрагмент послания, который эксплицитно очерчивает собственно замысел как таковой, сколько вся жанрово-стилевая структура послания в его прихотливой интертекстуальности, подчиненная доминанте персоналистской позиции, предполагающей в тексте объективного жанра пространство «плана автора», эксплицированное субъективно-лирическое начало, властно подчиняющее себе идеоло-

гические, дескриптивные и объективно-повествовательные элементы традиционного национального эпоса и репрезентирующее их как фактор личной жизни частного человека. При этом лирическая суггестивная сила подобной структуры непременно должна вовлечь в такое переживание истории и идеологии и того, кому адресован подобный текст – читателя, и, следовательно, сделать историю и идеологию фактором его – читателя – частной жизни. Жуковский такого текста не создал. Но знаменитое «победителю-ученику» свидетельствует о том, что намечавшаяся в творческом сознании поэта-учителя жанровая структура нашла свое полное и адекватное воплощение в поэме Пушкина «Руслан и Людмила».

Литература

1. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянской культуры, 2009. Т. 4. С. 365–370.
2. Ветшьева Н.Ж. Примечания // Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М., 2009. Т. 4. С. 609–621.
3. Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1964. С. 246–247.
4. Вестник Европы. 1814. Ч. 74, № 6. С. 97–106.
5. Ветшьева Н.Ж. Концепция национально-исторической эпопеи в планах поэмы В.А. Жуковского «Владимир» // От Карамзина до Чехова: К 45-летию научно-педагогической деятельности Ф.З. Кануновой. Томск., 1992. С. 67–76.
6. Батюшков К.Н. Сочинения: в 3 т. / под ред. Л.Н. Майкова. СПб., 1886. Т. 3. С. 382–383.
7. Вестник Европы. 1813. № 5–6. С. 26–30.
8. Поэты 1790–1810-х годов. Л.: Советский писатель, 1971. С. 278.
9. Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М.: Изд. «Русского архива», 1895. С. 62.
10. *Les douze Vierges dormantes*. Poème de M. Joukofski // *Le Conservateur impartial*. 1817. № 63. P. 325–326.
11. Державин Г.Р. Сочинения. СПб.: Академический проект, 2002. (Библиотека поэта. Большая серия).
12. Веселовский А.Н. В.А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904. С. 491–493.
13. Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой трети XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. С. 398–399.

THE NATIONAL, THE IMPERIAL, THE COLONIAL AS A FACTOR OF PRIVATE LIFE: V.A. ZHUKOVSKY'S EPISTLE "TO VOEIKOV"

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 93–107. DOI: 10.17223/24099554/7/6

Lebedeva Olga B. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: obl25@yandex.ru

Keywords: Zhukovsky, national verse epic, lyrics, epistle, “To Voeikov”, eleginess, subjectivity.

In the hierarchy of the classical genres of the 18th – first third of the 19th centuries, the leading position belongs to the national verse epic that never gave Russian literature any recognised samples. The reason to it was the ideology of personalism assimilated by the Russian culture of the Modern Times in the process of its Europeanisation. It contradicted the traditionally despotic character of Russian statehood. The interiorisation of geopolitics and its transformation into a factor of the personal life of a private person is emblematically represented in the epistle “To Voeikov” (1814) by V.A. Zhukovsky, a consistent statist in the ideological position, yet one of the most self-conscious lyricists of Russian literature. In a sense, the epistle displaced the idea of the poem “Vladimir”, which was thought to be a model of the national epic.

At all the levels of poetics, the lyrical and epic elements of the epistle are in constant interaction. Its compositional core is the structure of a lyrical subject, uniting a private person, a citizen of his country and a poet. First of all, the atypical plot attracts attention: it is an appeal to the semi-legendary, semi-historical personality of Prince Vladimir of Kiev. Many associative parallels connected him with all the key epochs of the formation of the Russian mentality and Russian statehood. Parts of the plot were significant “laboratory” auto-reminiscences from “The Tale of Igor’s Campaign” (Yaroslavna’s Lament) Zhukovsky soon translated and from the ballad “Vadim”.

The modern battle epic is also reflected in Zhukovsky’s epistle, but not in an objectively narrative, but in an intimate lyric manner: the motifs of memories of the war of 1812 are introduced into the epistle through the biography of the addressee. Voeikov’s postwar journey in the interpretation of Zhukovsky creates a powerful associative field of potential reflection on the historical shaping of state borders and on the formation of the territory of Russia, contemporary with the two poets, in the course of its national liberation wars (from Batu to Napoleon) and conquering campaigns (from the epoch of Ivan the Terrible to the Treaty of Gulistan that ended the Russo-Persian war of 1803–1813).

References

1. Zhukovskiy, V.A. (2009) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 4. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury.
2. Vetsheva, N.Zh. (2009) Primechaniya [Notes]. In: Zhukovskiy, V.A. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 4. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul’tury.
3. Batyushkov, K.N. (1964) *Polnoe sobranie stikhotvoreniy* [Complete collection of poems]. Moscow; Leningrad: Sovetskiy pisatel’.
4. *Vestnik Evropy.* (1814). 74:6. pp. 97–106.
5. Vetsheva, N.Zh. (1992) Kontseptsiya natsional’no-istoricheskoy epopei v planakh poemiy V.A. Zhukovskogo “Vladimir” [The concept of the national historical epic in the plans of V.A. Zhukovsky’s poem “Vladimir”]. In: Yanushkevich, A.S. (ed.) *Ot Karamzina do Chekhova: K 45-letiyu nauchno-pedagogicheskoy deyatel’nosti F.Z. Kanunovoy* [From Karamzin to Chekhov: To the 45th anniversary of the research and pedagogical activities of F.Z. Kanunova]. Tomsk: Tomsk State University.
6. Batyushkov, K.N. (1886) *Sochineniya: V 3 t.* [Works: in 3 vols]. Vol. 3. St. Petersburg: Tip. V.S. Balashova.
7. *Vestnik Evropy.* (1813). 5–6. pp. 26–30.

8. Lotman, Yu.M. (ed.) *Poety 1790–1810-kh godov* [Poets of the 1790s–1810s]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.

9. Russian Archive. (1895) *Pis'ma V.A. Zhukovskogo k Aleksandru Ivanovichu Turgenevu* [Letters of V.A. Zhukovsky to Alexander Ivanovich Turgenev]. Moscow: Izdanie "Russkogo arkhiva".

10. Le Conservateur impartial. (1817) Les douze Vierges dormantes. Poème de M. Joukowski [The Twelve Dormant Virgins. Poem by M. Zhukovsky]. *Le Conservateur impartial*. 1817. 63. pp. 325–326.

11. Derzhavin, G.R. (2002) *Sochineniya* [Works]. St. Petersburg: Akademicheskii proekt.

12. Veselovskiy, A.N. (1904) *V.A. Zhukovskiy: Poeziya chuvstva i "serdechnogo vobrazheniya"* [V.A. Zhukovsky: Poetry of feeling and "heart imagination"]. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences.

13. Sokolov, A.N. (1955) *Ocherki po istorii russkoy poemy XVIII i pervoy trety XIX veka* [Essays on the history of the Russian poem of the 18th and the first third of the 19th centuries]. Moscow: Moscow State University.

Е.К. Созина

«МЕЖ ЧУВАШ, ТАТАР, МОРДВЫ...»: ВОСТОЧНАЯ РОССИЯ В КАЗАНСКОМ ЖУРНАЛЕ «ЗАВОЛЖСКИЙ МУРАВЕЙ»¹

В статье рассматриваются материалы журнала «Заволжский муравей», выходившего в Казани в 1832–1834 гг. и позиционировавшего себя как печатный орган Заволжского края или всей Восточной России. Наибольший интерес представляют материалы журнала фактуального свойства (этнографические, исторические, описательно-географические), в которых Казань и Казанская губерния представляли как евро-азиатский регион, находящийся на пограничье Европы и Азии, Запада и Востока. В публикациях «Заволжского муравья» выделяются три типа нарративов в соответствии с тремя группами народов Заволжского края, о которых писали авторы журнала.

Ключевые слова: полиэтничность, этнографические материалы, беллетристика, нарратив, восточный дискурс, травелоги.

Журнал «Заволжский муравей»² считается первым частным журналом литературно-художественной направленности в провинции, по крайней мере к востоку от Самары и Казани. Издавался он в Казани университетскими преподавателями – адъюнктом российской словесности М.С. Рыбушкиным (1792–1849) и адъюнктом латинской словесности М.В. Полиновским (1785 – после 1842). За 1832–1834 гг. вышло 74 книжки журнала. Программа журнала была отражена в редакционной статье издателей: «...решились мы... приступить к изданию журнала, назвав его: “Заволжский Муравей”, с тем намерением, что в нем преимущественно помещаемы будут статьи, к Заволжскому краю относящиеся. В сем случае, кажется, мы исполнили изложенное нами в программе обещание: всего пьес, принадлежащих к Восточной России, при содействии почтенных особ города Казани и Сибирского края, помещено более 25-ти, и ос-

¹ Статья выполнена в русле проекта РГНФ № 16-04-00118 «На границе литературы и факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX – первой трети XX века».

² К истории журнала исследователи обращались неоднократно. См.: [1–4]. В книге [4] дан указатель содержания журнала, составленный Н.А. Егоровой. Реплика содержания с публикацией материалов журнала см. также: <http://libweb.kpfu.ru/z3950/lsl/muravey/rospis.htm> (дата обращения: 10.10.2016).

тается на будущее время таковых же... более пятнадцати» [5. 1832, № 23. С. 1359].

Понятно, что среди корреспондентов журнала и авторов статей были жители не только Казани и окрестных поселений, но и Перми (П. Размахнин, И. Свиязев, Р. Волков), Нижнего Новгорода (Н. Баталин, Д. Бабанин, М. Демидов), Пензы (Н. Филатов, Я. Евтропов), Уфы (В. Николаев), Троицка (П. Жданов), Тобольска (П. Словоцов), Иркутска (Б. Паршин), Красноярска (И. Петров), Елабуги (С. Годяев), Саратова (К. Лебедев) и др. Причем, по указанию В.В. Аристова, «из почти 70 известных нам авторов 45 (больше половины) были преподавателями, студентами или выпускниками Казанского университета...» [4. С. 8], хранившими верность своей *alma mater*. В структуре журнала выдерживались три достаточно традиционных для журналов того времени раздела: словесность, науки, нравы, в последнем предлагалось рассматривать «нравственные качества народов Заволжского края», их образ жизни, празднества, обычаи, быт и проч. [5. 1833. № 21]. В этом журнал был типологичен для отечественных изданий того времени. Но важно другое обстоятельство, выводящее «ЗМ»¹ за пределы чисто провинциального органа.

«ЗМ» создавался в столице края – Казани, которая осознала и позиционировала себя как в определенной мере оппозиционную Москве (Санкт-Петербург в материалах журнала фигурирует мало) и противопоставляла себя ей как центр Восточной России, составлявшей бóльшую половину империи. Иначе говоря, журнал высказывал своего рода претензию на гегемонию внутри провинции и выражал акт самосознания всей этой огромной территории, который Казань через интеллектуальные кадры университетской интеллигенции пыталась организовать и направить. Поэтому имперско-колониальный дискурс журнала, с одной стороны, обнаруживает сходство со столичным, московско-петербургским, а с другой – отличается от них степенью «густоты» имперскости и своеобразной гибридностью столичных и провинциальных черт, которые могут рассматриваться как некая особенность журнала, причем особенность позитивная, связанная с положением Казани.

Стоит выделить три фактора, определявшие понимание «своей» территории издателями и авторами «ЗМ». Это, во-первых, положение Заволжского края *между Европой и Азией, Европой и Востоком*; во-вторых, его *разноплеменное население* («меж чуваш, татар, морд-

¹ Здесь и далее «ЗМ» – «Заволжский муравей».

вы», как писал казанский поэт Ф. Рындовский); в-третьих, его *древняя и малоизученная история*, в частности история Булгарского царства, которой посвящали свои очерки и путевые заметки М. Рыбушкин, Н. Кафтанников, Ф. Эрдман и др.: древняя Булгария считалась (и до сих пор считается) казанцами и многими народами, живущими по течению Волги, своей прародиной. «...Университет Казанский в рассуждении местного положения своего находится как бы в *средоточии между Европою и Азией* (здесь и далее без специального указания курсив наш. – Е.С.) и составляющие округ его губернии населены *народами Востока...*» – писал М.С. Рыбушкин в одной из статей журнала [5. 1833, № 17 С. 962]. Вместе с тем он же отмечал: «...Казань почитается как бы *Сибирским уже городом*» [5. 1832. № 1. С. 35]. Равноудаленность и равноприближенность к Европе и Азии, по мнению ряда авторов, определяли преимущество этого места не только в настоящем, но и в истории. В очерке «Поездка в Болгары¹ и Билярск» все тот же Рыбушкин пишет: «История удостоверяет нас, что прежний город Болгар или Бряхимов, до самого построения Казани, был средоточием восточной торговли и главным меновым местом произведений *Европейских и Азиатских*, предметом корысти и ханов татарских, а может быть, и князей российских» [5. 1833. № 2. С. 87–88]. О том же говорил Н. Кафтанников: болгары – народ, «единоплеменный со славянами», «господствовал не только в *Азийских пределах*», но и по всей *Европе* [5. 1832. № 11. С. 603].

Для многих авторов журнала евроазиатскость Казани и, соответственно, всего Заволжского края позволяла снять «периферийность» города и региона, уйти от тривиальной уже в ту пору оппозиции «столица – провинция». Тем более что большинство из них, обращаясь к сопоставлению своей малой или большой родины со столицей, неизменно принимали сторону родного, пусть не такого великого и знатного. Рассказывая о поездке в Москву, А.А. Фукс, жена профессора К.Ф. Фукса, известная в Казани своей литературной и обще-

¹ Сегодня принято написание исторических названий *Волжская Булгария*, *Булгарское царство*, а также наименования древнего народа *булгары* через *у*. В печати позапрошлого века чаще всего эти слова писались через *о*. В частности, в «ЗМ» была принята именно эта форма. Поэтому в своем тексте мы следуем сегодняшней историко-орфографической норме, сохраняя в цитатах оригинальное написание. Наименования народов и пр., писавшиеся в то время как имена собственные (Чуваши, Татары, Русские и др., а также их словоформы), унифицируем в соответствии с современными орфографическими нормами, если они не несут семантической нагрузки.

ственной активностью¹, выражала точку зрения многих: Москва замечательна и прекрасна, но жить в ней невозможно – все узко, все искусственно, ненатурально [5. 1833. № 15. С. 813–832]. Отсюда парадоксальное на первый взгляд смещение в публикациях журнала *сибирского* и *восточного* дискурсов, определявшее его программные стратегии. В пределах данной статьи рассматривается преимущественно восточный дискурс «ЗМ», развернутый в сторону отражения в нем разнородного состава населения края.

Следует также сказать еще об одном обстоятельстве, определяющем наш ракурс анализа темы. Предшествующие исследователи, писавшие о «ЗМ», с достаточной полнотой раскрыли содержание его основных разделов, особое внимание обращалось на собственно литературные сочинения (словесность). Как справедливо писал В.В. Аристов, «можно даже сказать, что в “Заволжском муравье” в зародыше были представлены все те жанры, из которых спустя несколько десятилетий будут состоять толстые русские журналы» [4. С. 6]. Но, пожалуй, именно этнографическая и историко-географическая составляющие «Муравья» проявляют его истинное своеобразие и значение в истории не только отечественной журналистики, но и в становлении отечественного народознания, стремившегося охватить многочисленные народы империи, а также в процессе формирования и развития русской прозы нового направления, сложившегося уже в 1840-е гг.. Стихи и проза как таковая (беллетристика), публиковавшиеся в журнале, мало чем отличались от массовой словесности, заполнявшей столетние издания, чаще всего они были подражательны и в художественном отношении малооригинальны, малопродуктивны². В силу этого наибольший интерес для нас в рамках данного исследования представляют не художественные сочинения авторов

¹ А.А. Фукс известна историкам литературы своим знакомством и даже перепиской с А.С. Пушкиным. Она была держательницей в Казани литературного салона и немало сделала для развития культуры в городе и его окрестностях, активно позиционировала свой край в печати и была постоянной сотрудницей «ЗМ». См. о ней: [6, 7].

² Исключения, конечно, есть, в журнале печатались и талантливые авторы, пусть не первого ряда. Это, например, стихотворения В.Т. Феонина – пермского учителя, поэта, публиковавшиеся в журнале без фамилии автора, казанцев Ф.М. Рындовского, Л.Н. Ибрагимова и некоторые чисто экземплярные стихотворные произведения других авторов. Среди прозаических сочинений выделяются «Записки скопидома» А.А. Гундорова и башкирская повесть Н.Н. Кафтанникова «Араслан-баш» фольклорно-этнографической направленности, но скорее – на фоне остальных материалов журнала. Обзор словесности «Муравья» приведен в статьях В.В. Аристовой [3, 4].

журнала, а разножанровые материалы, позволяющие реконструировать портрет края в «зеркале» журнального дискурса.

Напомним, что Казанская губерния реально представляла собой многонациональный, полиэтнический регион – как и все Поволжье, как Урал и Сибирь. Проблема взаимоотношений с коренными народами края стояла подчас весьма остро, поскольку русские выступали здесь по большей части пришлыми, чужими, хотя уже обжившимися, обладавшими более высокой степенью адаптации и способности к освоению новых земель. Отсюда в составе разнородных материалов, публиковавшихся на страницах «ЗМ», можно выделить три вида нарративов в соответствии с тремя группами народов, изображавшихся в этих текстах. Первый – это «*киргиз-кайсацкий*» дискурс – о степных народах соседней Оренбургской губернии и Сибири (также причисляемой «Заволжским муравьем» к «своей» территории), исповедовавших иную веру, наименее подверженных культуризации и обрусению, а потому наиболее чуждых для их русских соседей¹.

Именно такой взгляд был характерен для очерка Владимира Веселли «Сатовка в Омске», изображающего картину киргиз-кайсацкой степи и ее кочующих жителей (в этом плане сей незатейливый автор может рассматриваться как предшественник и современник В.И. Даля, в 1830-е гг. вошедшего в литературу именно киргиз-кайсацкой и башкирской темой, актуальной для него во время службы в Оренбуржье, хотя пафос произведений Даля был совсем иным, нежели в публикациях «ЗМ»). Киргизцы, «дети праздности», покидают у Веселли *оскудевающую* с наступлением осени степь и отправляются «к пределам *богатой и запасной* Сибири» [5. 1832. № 19. С. 1051]. Внимание рассказчика сосредоточивается на «толпе», остановившейся на берегу Иртыша напротив Омска в предвкушении «сатовки» (дословно «мена», т. е. ярмарка). «Зрелище совершенных противоположностей представилось тогда на двух берегах знаменитой реки. На одном красивый, с правильной крепостью город, не великолепный, но во многих строениях являющий вкус образованный». На бульваре «гуляли дамы, одетые со всею прихотью

¹ Сюда же следует отнести очерки о сибирских народах, например: «Бродящие народы Туруханского края» и «О ламах, кочующих в Забайкальском краю бурят шимегонинского исповедания и о догматах их веры» полковника А. Маслова и др. В них представлены народы, совсем чуждые и далекие от Казани и локального, конкретно Заволжского, края, видимо, поэтому эти материалы носят более обобщенный и чисто описательный характер. В пределах данной статьи мы их касаться не будем.

и вкусом петербургской моды, блистали аксельбанты и эполеты на военных офицерах и мелькали щегольские фраки. <...> Одним словом, это было олицетворение европейской образованности» [5. 1832. № 19. С. 1052]. «Посмотрим теперь на другой берег, – назидательно продолжает автор. – Там киргизцы, вода кружками по земле, вокруг разложенных огней, неопратно пировали, передавая из рук в руки чаши кумыза. Мохнатая яга (верхнее платье), кожаные чембары (род сапог), остроконечные шапки с перьями, весь этот наряд, с открытой загорелой грудью, увеличивал грубость смуглых, часто безобразных их лиц, являл в них представителей *невежественных племен*» [5. 1832. № 19. С. 1053]. Таким образом, картинка, взятая, что называется, с натуры, оказывается вставленной в оправу чисто колониального дискурса, который ее определяет и задает расстановку акцентов.

Во многом схоже рисовались представители кочевых степных народов в очерках Ф. Эрдмана (профессор восточных языков в Казанском университете) и М. Сабанщикова¹. Остановимся, в частности, на последнем авторе. Очерк Сабанщикова «Елтонское озеро» [5. 1832. № 9. С. 491–504] имеет главным образом информативный характер, в нем с добросовестностью исследователя-колониста описываются природные условия соленых озер, в частности Елтонского озера, распространенных на степном юге и когда-то принадлежавших «кочующим народам», а теперь ставших достоянием России, и возможности заведения на озерах соляного производства. Вопрос о промышленной, а не только торговой эксплуатации азиатского юга России в отечественной печати будет актуализирован в массовом порядке несколько позже – примерно с конца 40-х и в 50-е гг., немалую лепту в его обсуждение внесут публикации П.И. Небольсина, В.В. Григорьева и др. Материалы «ЗМ» и здесь могут считаться своего рода «первыми ласточками».

Второй очерк Сабанщикова «Рын-пески» [5. 1832. № 12. С. 660–678] более многослоен. Он открывается попыткой целостного охвата и описания территории – как азиатской, первобытной, т. е. практически не тронутой присутствием человека, однообразной, а потому вызывающей в сознании рассказчика «неизъяснимое уныние». Огромность пустых пространств подавляет человека, не являющегося уроженцем этих мест, и он хватается за спасительные воспоминания

¹ В указателе казанских исследователей и библиографов он именуется «исследователем Саратовского края», иных сведений не приводится. См.: [8. С. 53].

и контрасты, успокаивая себя трюизмом цивилизации: «Какая противоположность, подумал я. Здесь степь пустынная и дикая, естественно поселяющая мрачные и печальные мысли... А там цветущие и многолюдные города, где беспрестанная деятельность оживляет все предметы...» [5. 1832. № 12. С. 660]. Внедряясь в степь, рассказчик со спутниками достигает жилища хана Киргиз-Кайсацкой Малой орды Джангера Букеева, чьи кочевья располагались в просторах Рын-песков. И здесь в дискурс Сабанщикова входит тема степного народа – одного из многих, населяющих Восточную Россию. Вопреки своим ожиданиям и распространенному представлению о «киргизцах», которому следует, например, В. Вессели (см. выше), автор-рассказчик в очерке Сабанщикова описывает хана Джангера и его домочадцев как людей вполне культурных, образованных и милых, т. е. цивилизованных, – именно этот критерий выступает как основной в подтексте всех рассказов путешественников о встречах с «инородцами». Рассказчика поражает причудливая архитектура дома, чистота и опрятность быта, но главное – «несмотря на то, что мы вообще привыкли представлять себе сих народов безобразными и свирепыми, сей киргизец имел нечто особенное: густая, черная и небольшая борода украшала круглое и белое лицо, на коем изображались *кротость и добросердечие*» [5. 1832. № 12. С. 664]. Те же качества он отмечает как центральные у самого хана и ханши: «Ханьша приняла нас с *удивительной любезностью*. Ее белое, нежное и выразительное лицо, на коем оттенялись *кротость и добродушие* и многие другие приятности, внушающие вдруг и уважение и особенную привязанность, стройный и гибкий стан, развязность и ловкость во всех движениях заставили нас забыть, что мы находимся в далеких от столиц степях, тем более, что Ханьша говорит на немецком и французском языках и искусно играет на фортепьяно» [5. 1832. № 12. С. 667]. Немалое восхищение рассказчика вызывают одежды и украшения хозяев – он отмечает их «пышную и ослепительную роскошь» [5. 1832. № 12. С. 669]. Тем самым соединяется, казалось бы, несоединимое – восточный быт и европейский стиль если не жизни, то поведения правителя казахской орды и его семейства¹.

¹ О хане Джангире (у Сабанщикова – Джангер, искаж.) в журнале писали не один раз. Заметка «Учтивость киргизского хана» рассказывает о визите его к профессору Фуку в Казани (по дороге в родную орду из Москвы, где «мирной», дружественный русским хан присутствовал на коронации императора Николая) и об обмене профессора и хана любезностями [5. 1832. № 13. С. 732–736].

Сравнение со «своим» не оставляет рассказчика – праздник «Байран» (искаж. Байрам или Курбан-байрам), важный для исповедующих ислам «киргизцев», он сопоставляет с православной Св. Троицей; все национальные забавы народа вызывают у него чувство тревоги: борьбу он описывает как «сколько ужасную, столько и опасную для жизни» [5. 1832. № 12. С. 675]. В итоге все увиденное подвигает его к заключению: «Народ киргизский, чуждый всякого гражданского благоустройства, не привыкший к постоянной жизни и поставляющий свободу и независимость выше всякого блага, имеет склонность к неповиновению и возмущается при каждом удобном случае» [5. 1832. № 12. С. 677]. Для укрощения «мятежного духа киргизцев», полагает автор, кордоны и линии Уральского казачьего войска настоятельно необходимы, и можно лишь надеяться, что «при нынешнем управлении хана Джангера сей дикий и невежественный народ, восчувствовав благотворное влияние власти и цену гражданского порядка и устройства, скоро улучшит образ жизни своей и, соединяясь сердцем и душой с истинными сынами России, ревностно устремится к общей пользе для славы отечества и великого своего монарха» [5. 1832. № 12. С. 678]. Этот утопический призыв более всего характеризует позицию путешественника, пришедшего человека в данной земле, для которого все в ней чужое и которая, само собой разумеется, должна служить «общей пользе», лучше понимаемой русскими как более развитым народом.

Тем не менее то был «свой», близкий Восток, а отношение к Востоку дальнему со стороны массового как читателя, так и автора может быть подытожено строками из стихотворения М. Демидова «Восток», где дается своеобразный реестр восточных атрибутов:

Восток, Восток, как много дум:
Какие дивные картины!
Кизил – Ирмака, Ганга шум,
Гиммале грозные вершины,
И Индустан, приют богов,
И Коба – океан песков... [5. 1834. № 13. С. 262].

Вторая группа народов и, соответственно, второй тип нарративов – это «свой» другие, т. е. *народы Поволжья*, типическое восприятие которых жителями столицы от лица своего лирического героя, выехавшего «на отдых» и вполне терпимо относящегося к своему

инонациональному окружению, выразил Ф.М. Рындовский в «Отрывке из стихотворения: Путешествие и отдых»¹:

Отдохнем – ваш друг на месте
Меж чуваш, татар, мордвы.
Вестель вы, или не весте,
Эти люди каковы?
С кожи, с рожи не лихие,
Но ни дать, ни взять такие,
Как и в Питере у нас:
Ходят все и тут ногами,
Дело делают руками,
А для света – пара глаз [5. 1832. № 9. С. 499].

Наиболее репрезентативны здесь рассказ о путешествии к чувашам Александры Андреевны Фукс и ответные письма ее мужа Карла Федоровича Фукса, размещенные на страницах «ЗМ», а затем вышедшие отдельным изданием. Они претендуют на одно из первых (после ученых трудов академиков) научных описаний этого приволжского народа. Вместе с тем они несут в себе печать авторской субъективности, подчас открыто эмоциональны, изобилуют обращениями жены к мужу (и мужа к жене), в них есть и передача дорожных впечатлений, и небольшие воспоминания автора о родительской семье, так что в жанре свободных записок путешественника в них рождается этнографическая беллетристика, с середины века занимающая страницы многих российских журналов. С этой стороны мы и посмотрим на них, оставляя полновесный анализ их «травеложной» стратегии за пределами данной статьи.

А.А. Фукс (1805–1853) до замужества жила в доме своего отца в Чебоксарах, поэтому свою поездку туда, состоявшуюся, судя по датам, в октябре – ноябре 1833 г., она подала как путешествие на родину. Это не мешало ей воспринимать чувашей как некую диковинку, с подразумеваемым вопросом «Эти люди каковы?», но вместе с тем и добросовестно описывать их обычаи, быт, образ жизни, праздники, на которых ей довелось побывать.

Для позиции А. Фукс характерен своеобразный наивный этноцентризм (склонность «видеть других людей с точки зрения собст-

¹ По указанию А.М. Саяповой, это стихотворение, а также «К приятелю в столицу из деревни» («Благонамеренный», 1818) было написано поэтом «под впечатлением пребывания поэта в глухой провинции: в Тетюшах Казанской губернии, куда Рындовский был послан на службу...» [9. С. 81].

венных культурных категорий» [10. С. 80]), связанный с господством эволюционизма в воззрениях людей XIX в. и присущий практически всем авторам «ЗМ», как и других отечественных журналов того времени. Она хорошо относится к чувашам, с некоторыми из них даже дружна, но они для нее – «полудикари» и «дети природы»: «Когда я спросила чувашина: “Кто их Бог?” – “Не знай, мачка”. – “Где он?” – На небе, отвечал полудикарь» [5. 1834. № 2. С. 96]. «Нельзя чуваш назвать вовсе дикими, однако можно решительно сказать, что они дети природы...» [5. 1834. № 3. С. 157].

«...Ни одной минуты не проходит даром, и все стараюсь видеть своими глазами» [5. 1834. № 3. С. 156] – такова установка Александры Фукс, старающейся стать хорошим этнографом и вполне способной отследить то, что происходит не только вокруг, но и в ней самой. Поэтому, например, в ее тексте возможна такая фраза: «Я с любопытством рассматривала их головной убор...» [5. 1834. № 2. С. 101], и тут же следует перенос своей позиции, оцениваемой уже как качество, на целый чужой народ: «Странно, что чуваша, несмотря на их дикое состояние, не имеют подобного татарам любопытства. <...> ...даже ребятишки без удивления на меня смотрели. <...> Это знак, что у них нет врожденного любопытства» [5. 1834. № 3. С. 155]. Особых выводов за этим не следует, но характерен метод умозаключений автора. Положение о том, что чуваша – «дети природы», А. Фукс выводит из наблюдения их «добросердечия», подкрепляющего руссоистскую максиму об изначальной «доброте» человеческой природы: «...по их образу жизни следует заключить, что природа производит больше людей добрых, нежели злых, и что чувство добросердечия им врожденно. Редко найдешь между чувашами злого человека; они по сие время, как дети, не понимают, что такое добро и зло, порок и добродетель; они слепо следуют влечениям своего сердца, которое редко влечет их ко злу» [5. 1834, № 3. С. 157].

Однако эта же «природность», по мысли автора, способна породить и самый непосредственный аморализм «диких» «инородцев». Так, при описании черемисских¹ поминок, на которых ей довелось побывать, А. Фукс передает свой разговор с местными жителями о любви и супружестве. «Молодой черемисин» отпускает реплику – «разве нет другого, кроме мужа». «Вот дети природы, живущие на свободе», – следует комментарий рассказчицы [5. 1834. № 22.

¹ Черемисы – марийцы.

С. 467]. Само же описание поминок завершается кратким резюме: «Потом опять возвратились в амбарушку, и тут-то началось веселье: явились гусли, пузыри, гудок, начали пить и плясать, и бесновались до восхождения солнца. Я велела заложить коляску и отправилась домой» [5. 1834. № 22. С. 471]. Стараясь быть объективной, А. Фукс излагает подробности народного действа, которое она наблюдает и в котором пассивно даже участвует. Но как женщина, не принадлежащая к традиционной культуре, этнически иная и к тому же правоверная христианка, она не может принять образа мыслей и поведения черемисов, их своеобразного двоеверия, и, несмотря на всю сдержанность в выражении ею своих эмоций, отношение рассказчицы к слышимому и видимому проникает в ее дискурс и неминуемо сказывается на описании самих народных обрядов. Описывая чувашские или черемисские обрядовые действия, А. Фукс – как и ее муж К. Фукс при описании татарских праздников – не вникают в их смысл, находятся буквально на другой (по их мнению, более высокой) ступени цивилизации и культуры, они полностью отчуждены от своего «материала» и в силу этого не могут его понять и должным образом воссоздать.

Более удачным приближение писательницы к «полудикому» народу оказалось при записи ею религиозных и мифологических воззрений чувашей, а также при ответах на вопросы мужа о природных и социальных особенностях жизни народа, т. е. когда требовалось применить рациональное мышление и логику, без невозможного для нее внутреннего принятия чужой культуры и вживания в нее. Здесь А. Фукс, подобно многим, следует путем аналогии: она сравнивает чувашский быт с русским («Чуваши награждают своих дочерей лучше русских крестьян» [5. 1834. № 4. С. 211]), порой с татарским, а стремясь понять их религию и мифологию, проводит параллели с древними народами («...у них, как у греков, надо всем есть бог...» [5. 1834. № 4. С. 218]; «...они уверены, как египтяне, что мертвые имеют между собой сношение...» [5. 1834. № 4. С. 221]). И надо сказать, что метод этой рациональной аналогии срывает: А. Фукс удалось описать если не систему, то элементы языческих воззрений чувашей достаточно адекватно.

В целом же в оценке как А. Фукс, так и К. Фукса чувашаи получают целый ряд нелицеприятных характеристик и определений, многие из которых обнаруживаются в нарративах других авторов-путешественников при их знакомстве с так называемыми «иномрод-

цами». Самым неприятным качеством чаще всего оказывается их нечистоплотность и неопрятность. Непреодолимой для А. Фукс стала проблема языка, почему осталась закрыта и духовная культура народа. «Язык чувашский очень беден. <...> ...Народ необразованный, не имея отвлеченных идей, натурально не может иметь и названий оных». «...У сего народа не находится ничего похожего на литературу: ибо они не имеют ни букв, ни преданий исторических, но ограничиваются одними песенками, – большей частью, унылыми» [5. 1834. № 4. С. 357–362]. Характерно, что аналогичные претензии предъявлялись со стороны русских наблюдателей и просветителей XIX в. и к другим народностям России, в частности коми-зырянам и коми-пермякам. «Авторами очерков и статей о зырянах особо подчеркивались отсутствие отвлеченных понятий в языке последних, привязанность зыряннина к лексике конкретного чувственного жизнеописания, – пишет В.А. Лимерова. – <...> Для авторов записок зыряне несомненно являются народом, чья пуповина не отделилась от природы, и язык его дик, первобытен, природен» [11. С. 102, 104]. Эти особенности восприятия языка народа объясняются той же культурной, когнитивной дистанцией, что существовала между информантами и реципиентами, т.е., говоря иначе, позицией этноцентризма, отмеченной нами выше у А. Фукс. В этом отношении выделяется оценка Карлом Фуксом языка и поэзии соседей чувашей – татар: «Желательно было бы сблизить сии два языка (разумею татарский с русским) и ознакомить нас с татарской словесностью, которая, при столь особенном от прочих народов вкусе, дышащем восточной пышностью, имеет свои собственные красоты, почти не выразимые на других языках» [5. 1834. № 19. С. 192]. Понятно, что фольклор и литература татар развивались на мощном основании тюркского наследия, а красота и богатство восточной поэзии общеизвестны. Но следует иметь в виду и татарский колорит «Заволжского края как прежде населяемого народами татарского происхождения» [5. 1833. № 4. С. 230], что обуславливало повышенное внимание «ЗМ» к татарскому населению и его прошлому.

В конечном итоге и для А. Фукс, и для ее мужа наиболее ценными качествами народного характера оказываются доброта, кротость, смирение. И здесь Фуксы типологичны. В оценках Сабанчиковым киргиз-кайсаков как позитивные свойства также назывались их «кротость и добродушие». В описании А.П. Масловым «бродячих народов» Сибири хороши оказываются те «дикари», которые «крот-

ки и послушны» [5. 1833. № 9. С. 513]. Очевидно, что в данном случае следует говорить о патерналистском отношении авторов журнала к описываемым народам.

Тем не менее значение труда А. Фукс для развития знаний о внутренних народах России было достаточно велико и отмечалось современниками. Вместе с ответными письмами Карла Фукса ее эпистолярии создавали некое подобие диалога, в котором заглавная роль модератора принадлежала А. Фукс, а К. Фукс выступал в роли «теневого» проводника и идеолога. Кроме того, и сама А.А. Фукс в своих записках приводила тексты нескольких чувашских песен (на чувашском и русском языках), и в «ЗМ» публиковалась чувашская песня в переводе Д.Н. Ознобишина [5. 1833. № 21. С. 1204–1208], так что корреспонденты и сотрудники журнала выступили одними из первых собирателей фольклора этого народа.

Третья группа народов и третий тип нарративов относим к башкирам, которых казанцы рассматривали в числе «своих», но более дальних, нежели соседние чуваша или черемисы. Кроме ряда подражательных стихов А. Шляпникова, этому народу посвящены очерковая зарисовка П.Е. Размахнина «Картина башкирской жизни» и «башкирская повесть» Н.Н. Кафтанникова «Араслан-бабр».

В «Картине башкирской жизни» Размахнин¹ дает краткий эскиз жизни «башкирцев», привлекающий авторской заинтересованностью в своем предмете, эмоциональностью и поэтичностью ряда описаний наряду с их контрастностью. Причем контрастность вызвана как объективным течением жизни этого «полукошевого народа», так и различной степенью ее привлекательности для автора и читателя, т.е. ее возможной «литературности». Столь же контрастно использование автором разных типов дискурса – информативно-этнографического и поэтически-художественного.

В начале очерка дается довольно точная зарисовка образа жизни и быта народа, например: «Башкирские деревни построены без всякой симметрии; дома их (за исключением весьма немногих, принадлежащих богатым людям) делаются на скорую руку, довольно непрочны и весьма тесны...» [5. 1832. № 3. С. 156–157] и т. д. Как и другие авторы, описывавшие жизнь «иногородцев», Размахнин отмечает их нечистоплотность, особенно в зимнее время года. Но затем

¹ П.Е. Размахнин (1796–1834) учился в Казанском университете, затем преподавал русскую словесность в Оренбургском уездном училище, в Уфе и, наконец, с 1826 г. в Пермской мужской гимназии. Он достаточно часто посылал свои стихи в «ЗМ», все они были исполнены духа запоздалого сентиментализма и просветительства уходящей эпохи.

тональность его нарратива меняется: «Наступает прелестная весна, – наступают и удовольствия башкирцев: они оставляют свои зимовища и выходят на кочевье. В продолжение весны, лета и до глубокой осени башкирцы ведут жизнь приятную, веселую и мало заботятся о будущем» [5. 1832. № 3. С. 158]. В доказательство намечающейся пасторали автор дает «прелестнейшую картину» весенне-летнего кочевья башкир, которую он сам наблюдал по дороге из Оренбурга в Пермь. Картина живописна и направлена на пробуждение визуального воображения читателей, построена как единое синтаксическое целое: «Представьте себе высокие горы, покрытые густым лесом, зеленые и цветущие долины, шумящие ручьи или целые реки и обширные озера – и вы будете иметь понятие о местах, занимаемых в летнее время кочевьем башкирского народа; прибавьте к тому разбросанные в разных местах юрты, из которых выходит тонкий дым и расстилается по вершинам гор; многочисленные стада коз, овец, коров и табуны лошадей; их рев, ржанье и топот – и в воображении вашем составит картина, возбуждающая приятное мечтание о давних мирных временах и беззаботном хозяйстве патриархального века» [5. 1832. № 3. С. 159]. Таким образом, «патриархальный» народ «башкирцев» для автора – это своего рода зримая метафора ушедшего прошлого человечества, настоящее его неприятно и неопнятно, как жизнь кочевого племени зимой, но летом она позволяет предаться сладостным мечтаниям о возможности «золотого века». Наукообразный слог соответствует зимнему «настоящему» – и установке на достоверное познание чужого этноса, актуальной для времени автора-повествователя; поэтическая картина, призывающая к любованию ею, – ушедший, но еще длящийся в его сознании идеал, который не требует объяснений, его можно дать в той поэтике «живых картин», что была распространена в русской литературе XVIII – рубежа XIX в. и достигла расцвета в сентиментализме.

Повесть Н.Н. Кафтаникова¹ «Араслан-бабр» вторична, образом для нее явилась «башкирская повесть» Т.С. Беляева, оренбургского «грамотея», крепостного помещика Тимашева, написанная в 1809 г. и напечатанная в Казанской типографии в 1812 г. и в свою очередь, использующая мотивы башкирских легенд и преданий

¹ Н.Н. Кафтаников (1791–1841) также учился в Казанском университете, после окончания курса (1814) служил учителем в Оренбурге, в 1830-е гг. переселился в Казань, где занимался местной археологией, сотрудничал в «ЗМ».

(см. об этом [12. С. 46–52]). Кафтанников значительно облегчает историю любви юноши и девушки из двух башкирских родов, преодоления ими ряда препятствий и счастливого воссоединения, описанную Беляевым, опускает ряд сказочно-фантастических элементов, задающих повороты сюжета в «Куз-Курпаче». В целом его повесть сориентирована на более реалистическое изображение жизни башкирских племен, в ней много этнографии, хотя этнографические описания для автора не самоцель, он создает эпическое произведение, неспешно разворачивая картину жизни кочевого народа, расположившегося «на прекрасной, пленительной долине, окруженной высокими, живописными Рифейскими горами, близ обширного светлого озера Ареляш...» [5. 1833. № 1. С. 3]. Картина в принципе сходна с зарисовкой Размахнина, и об определенной идеальности ее для автора говорит фраза: «Все показывало довольство, беспечность и свободу» [5. 1833. № 1. С. 3]¹. Снижающий идеальный образ патриархального народа мотив – это не изменение авторского нарратива и не зимняя нечистоплотность башкир, как у Размахнина, но барымта, играющая важную роль в сюжете и в реальной жизни степных народов. Мстя похитителям невесты, Араслан с батырами рубят на куски не только своих непосредственных врагов, киргизских батыров, но и всех жителей аула, где была спрятана его невеста Зюлима.

Интересно, что в стихотворных и прозаических (художественных) произведениях, публикуемых в журнале, неприемлемые для русских авторов черты образа жизни и национального характера описываемых народов обычно не упоминались: это предписывал своего рода литературный этикет художественной системы русской литературы 1820–30-х гг., да еще в ее массовой провинциальной разновидности. Фактуальные тексты, независимо от их жанровой ориентации (записки путешественников, письма, статьи, очерки и пр.), оказывались в более свободном положении, и потому здесь прослеживается большая этнографическая точность и объективность, больший реализм в изображении края и его обитателей. Однако парадоксальным образом именно авторы фикциональных текстов проявляли и большую терпимость в отношении к своему-чужому, тогда как документальные нарративы чаще всего попадали

¹ Это представление о кочевой, а значит, свободной жизни башкир проходит и через другие тексты. В стихотворении А. Шляпникова «Отъезд из Башкирии» читаем: «Прощай разгульна степь Башкиров, / Прости Умирско кочевье; / Прости сотрудник мой Акиров, / Прости свободное житье» (сохранена орфография и пунктуация оригинала) [5. 1833. № 7. С. 386].

в зависимость от идеологических стереотипов и этноцентристских установок времени. Тем не менее фундамент для утверждения в литературе новой художественной стратегии создавала травеложно-этнографическая проза, поскольку она была более ориентирована на «натуру», на «действительность» (ведущий концепт натуральной школы 1840-х гг.). Описательные тексты в жанре статьи, очерка, картины, также принятые в печати того времени, компенсировались живостью и динамичностью путевых заметок и записок, где авторская субъективность полнее и ярче проявляла себя, куда могли включаться диалоги, сцены, дополнительные рассказчики и т.п., а само путешествие автора-рассказчика заменяло или имитировало разворачивание событийного сюжета. Именно это взаимодействие жанров и различных языков, которое совсем скоро в полном объеме развернется в русской литературе, мы наблюдаем в «восточно-русском» журнале «Заволжский муравей».

Литература

1. Пономарев П.А. Казанская периодическая пресса. «Заволжский муравей» // Казанский литературный сборник. 1878. Казань, 1878. С. 177–222.
2. Куранов К.Н. Особенности формирования жанров публицистики в казанской прессе первой трети XIX века // Жанры журналистики. Казань, 1972. С. 3–32.
3. Аристов В.В. «За труд мой не ишу себе похвал и славы...» // Аристов В., Ермолаева Н. Все началось с путеводителя...: поиски литературные и исторические. Казань, 1975. С. 43–72.
4. Аристов В. В. Журнал «Заволжский муравей» и его авторы // Казанская периодическая печать XIX – начала XX века: библиогр. указатели. Казань, 1991. С. 5–18.
5. *Заволжский муравей*: литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1832–1834.
6. Агафонов Б. Казанские поэты // Исторический вестник. 1900. Август. С. 586–598.
7. Бобров Е., А.А. Фукс и казанские литераторы 30–40-х годов // Русская старина. 1904. Июнь. С. 482–509; Июль – август – сентябрь. С. 5–35.
8. *Казанская периодическая печать XIX – начала XX века*: библиогр. указатели. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1991. 87 с.
9. Саяпова А.М. Журналы «Благонамеренный» и «Заволжский муравей» как источники изучения творчества казанского поэта Ф.М. Рындовского // Вопросы источниковедения русской литературы: межвуз. сб. науч. тр. Казань, 1989. С. 79–88.
10. Эриксен Т.Х. Что такое антропология? / пер. с англ. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 238 с.
11. Лимерова В.А. «Текст языка» в творчестве И.А. Куратова и его современников // Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 5: Национальные образы мира в региональной проекции / Ин-т истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург, 2010. С. 99–108.

12. Хуббетдинова Н.А. Художественное отражение фольклора в литературе XIX века: К проблеме русско-башкирских фольклорно-литературных взаимосвязей. Уфа: Гилем, 2011. 126 с.

«AMONGST THE CHUVASH, THE TATARS AND THE MORDOVIANS . . .»: EASTERN RUSSIA IN THE KAZAN MAGAZINE ZAVOLZHSKIY MURAVEY

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 108–125. DOI: 10.17223/24099554/7/7

Elena K. Sozina, Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: elenasozina1@rambler.ru

Keywords: polyethnicity, ethnographic materials, fiction, narrative, oriental discourse, travelogues.

The paper is prepared within Project No. 16-04-00118 of the Russian Foundation for the Humanities “On the Border of Literature and Fact: Languages of Self-Description in the Periodical Press of the Urals and the Northern Cisurals of the 19th – the first third of the 20th centuries”.

The magazine *Zavolzhskiy muravey* [Trans-Volga Ant], which was issued in Kazan in 1832–1834, is examined in the article. The magazine was positioned as an official organ of the Trans-Volga District or Eastern Russia as a whole; it presented Kazan and Kazan Province as a Eurasian region situated on the border of Europe and Asia, East and West. The history of the region was examined in the magazine from this perspective: Volga Bulgaria was declared a homeland of the people who lived along the Volga River. An assertion of their originality was expressed in the repulsion from Moscow and in the constant accentuation of the multinational and multicultural nature of the region, whose eastern borders were not clearly outlined and stretched up to the Pacific Ocean. Factual ethnographic, historical and descriptive-geographical materials of the magazine are of greatest interest. The imperial-colonial discourse of the edition is developed in these materials: it has a number of specific features which are connected with the globalist pretensions of the magazine that united the eastern and Siberian topics. Three types of narratives are distinguished in the publications of *Zavolzhskiy muravey* in accordance with the three groups of peoples of the Trans-Volga region the magazine authors described. These types are: 1) the Kirghiz-Kaysak discourse about the steppe people of the neighboring Orenburg Province and Siberia (the authors of *Zavolzhskiy muravey* also considered these areas as part of the Trans-Volga region) who were mostly alien to their Russian neighbors; about Siberian peoples (e.g., “The Nomadic Peoples of Turukhanskiy Krai” by Colonel Maslov and others); 2) ethnographic materials about the closer peoples of the Volga region: the Chuvash, the Mari, the Tatars and the Mordovians which were often published together with oral folk art materials. A.A. Fuks’s collection of materials about her visit to the Chuvash is worth mentioning in this respect in which she aspired to show the most integral and precise image of the mode of life of the neighboring people and impressions of what she had seen; 3) the Bashkir discourse about the neighboring people in which “semi-fiction”, i.e. artistic-ethnographic, works are presented such as *The Image of Life of the Bashkir People* by P. Razmakhnin, a Bashkir-style story by N. Kaftannikov *Araslan-Babir* and others. Thus, the magazine stimulated the development of ethnographic fiction – a particular trend in the evolution of Russian literature of the middle and the second part of the 19th century. The paper shows that it is documentary narratives that depended on the ideological stereotypes

and ethnocentrist directives of that time more often than artistic texts that usually corresponded with the literary etiquette of the Russian literature of the 1820s–1830s.

References

1. Ponomarev, P.A. (1878) Kazanskaya periodicheskaya pressa. "Zavolzhskiy muravey" [Kazan periodic press. Zavolzhskiy Muravey (Trans-Volga Ant)]. In: *Kazanskiy literaturnyy sbornik. 1878* [Kazan literary collection. 1878]. Kazan: Tip. M. A. Gladyshevoy. pp. 177–222.
2. Kuranov, K.N. (1972) Osobennosti formirovaniya zhanrov publitsistiki v kazanskoj presse pervoy treti XIX veka [The peculiarities of forming of the journalistic genres in Kazan press of the first third of the 19th century]. In: Yudkevich, L.G. (ed.) *Zhany zhurnalistiki* [Genres of journalism]. Kazan: Kazan University.
3. Aristov, V.V. (1975) "Za trud moy ne ishchu sebe pokhval i slavy..." ["I'm not looking for praise and glory for my labour..."]. In: Aristov, V. & Ermolaeva, N. *Vse nachalos' s putevoditelya... poiski literaturnye i istoricheskie* [Everything began from the guidebook... the literary and historical searches]. Kazan: Kazan University.
4. Aristov, V.V. (1991) Zhurnal "Zavolzhskiy muravey" i ego avtory [The magazine Zavolzhskiy muravey and its authors]. In: Shishkin, V.I. (ed.) *Kazanskaya periodicheskaya pechat' XIX – nachala XX veka: Bibliograficheskie ukazateli* [The Kazan periodical press of the 19th – early 20 centuries. Bibliographic indexes]. Kazan: Kazan University.
5. *Zavolzhskiy muravey*. (1832–1834).
6. Agafonov, B. (1900) Kazanskiiye poety [Poets of Kazan]. *Istoricheskiy vestnik*. August. pp. 586–598.
7. Russkaya starina. (1904) Bobrov, E., prof. A.A. Fuks i kazanskiiye literatorty 30–40-kh godov [Bobrov E., Prof. A.A. Fuks and Kazan literary men of the 1830s–1840s]. *Russkaya starina*. June. pp. 482–509; July–August–September. pp. 5–35.
8. Shishkin, V.I. (ed.) (1991) *Kazanskaya periodicheskaya pechat' XIX – nachala XX veka: Bibliograficheskie ukazateli* [The Kazan periodical press of the 19th – early 20 centuries. Bibliographic indexes]. Kazan: Kazan University.
9. Sayapova, A.M. (1989) Zhurnaly "Blagonamernennyy" i "Zavolzhskiy muravey" kak istochniki izucheniya tvorchestva kazanskogo poeta F.M. Ryndovskogo [Blagonamernyy and Zavolzhskiy Muravey magazines as sources of study of the works of Kazan poet F.M. Ryndovskiy]. In: *Voprosy istochnikovedeniya russkoy literatury* [Problems of source study of Russian literature]. Kazan: Kazan State Pedagogical Institute.
10. Ericksen, T.H. (2014) *Chto takoe antropologiya?* [What is anthropology?]. Translated from English. Moscow: Higher School of Economics.
11. Limerova, V.A. (2010) "Tekst yazyka" v tvorchestve I.A. Kuratova i ego sovremennikov ["Text of the language" in the works of I.A. Kurchatov and his contemporaries]. In: *Literatura Urala: istoriya i sovremennost'* [The Urals literature: history and modernity]. Vol. 5. Ekaterinburg: Ural State University. pp. 99–108.
12. Khubbetdinova, N.A. (2011) *Khudozhestvennoe otrazhenie fol'klora v literature XIX veka. K probleme rusko-bashkirskikh fol'klorno-literaturnykh vzaimosvyazey* [The artistic reflection of the folklore in the literature of the 19th century. The problem of Russian-Bashkir folklore-literary interconnections]. Ufa: Gilem.

П.В. Алексеев

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И КУВШИН МАГОМЕТА¹

В статье исследуются генезис и функции ориентального мотива кувшина Магомета в творчестве Ф.М. Достоевского 1860–1880-х гг. в связи с проблемой восприятия эпилепсии. Мотив кувшина Магомета рассматривается в контексте русского перевода книги В. Ирвинга «Mahomet and his successors» (1849) и рецензии Н.А. Добролюбова на ее русский перевод. Прослеживается связь между ориентализмом А.С. Пушкина («Пророк») и Ф.М. Достоевского в плане художественного описания и мифологизации эпилепсии.

Ключевые слова: Достоевский, Ирвинг, Пушкин, Добролюбов, русский ориентализм, Магомет, эпилепсия, мотив, кувшин.

Ориентализм Ф.М. Достоевского неизменно привлекает к себе внимание отечественных и зарубежных исследователей с 1970-х гг., хотя, надо признаться, под ним первоначально понималась только увлеченность восточными темами, что несколько сужало широту и ограничивало перспективность проблемы. За рубежом ее поставили и попытались решить, не обращаясь к подходам постколониальной критики, такие исследователи, как М. Футрелл, Д. Томпсон, С. Янг, Э. Кузма, Т. Позняк [1–5] и др. В статьях и небольших монографиях они указали на важность изучения восточных тем творчества Достоевского, но, что особенно важно, составили хорошую фактическую базу их изучения. Всякий, кто берется за эту скользкую тему достоевсковедения, неизбежно сталкивается с такими базовыми константами ориентализма Достоевского, как ссылка в Сибирь, знакомство с каторжниками-мусульманами, дружба с имперским офицером, этническим казахом-мусульманином Ч. Валихановым, просьба к брату прислать в Семипалатинск издание Корана, а также антитурецкие и антисемитские темы его творчества. Конечно, эти факты важны сами по себе и не только в рамках ориентализма, но взятые отдельно, они составляют полноценную литературоведческую проблему.

В отечественном достоевсковедении тема Востока до сих пор никого не вдохновила на полноценный монографический разбор,

¹ Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-34-01258 «Концепция Востока в художественной прозе и публицистике Ф.М. Достоевского».

хотя тем исследователям, кому недоступны зарубежные источники, окажут помощь работы по восточному вопросу, проблемам идентичности, философии и стиля Достоевского, принадлежащие перу И.Л. Волгина, П.Е. Фокина, С.А. Кочукова, С.Ф. Шаваринской, Е. Милойкович-Джурич и К. Уразаевой [6–11]. Эти и другие работы только вводят в проблематику ориентализма Достоевского либо касаются этого вопроса косвенно, подробные же исследования отдельных аспектов поэтики и имагологии восточного текста Достоевского, особенно в аспекте постколониальных штудий, еще ждут своего часа.

Настоящая работа – продолжение ориенталистского подхода к творчеству Достоевского, начатая серией статей [12, 13] и небольшим разделом в нашей монографии [14. С. 292–309]. Цель этой статьи предельно узкая – ориенталистское рассмотрение отдельного восточного мотива, интертекстуальные связи которого могут продемонстрировать сложность и многоаспектность литературного изобретения Востока одним из ключевых писателей русской литературы XIX в.

Прежде всего, следует оговориться, что русский ориентализм есть не просто увлечение восточными темами, это важнейший дискурс национального самоопределения, основанный на оперировании категориями «Запад» и «Восток» [14. С. 5] и непосредственно связанный с имперским мышлением XVIII–XIX вв. Вне зависимости от смысловых коннотаций этих двух категорий (или концептов) само их наличие в творческом сознании писателя неоспоримо указывает на то, что автор включен в дискурс ориентализма, что он оценивает окружающую действительность в определенной связи с алгоритмами, выработанными в рамках данного дискурса. После обнаружения этого факта следующим шагом является выяснение и подробный анализ ключевых тем, которые автор рассматривает в этом дискурсе, при этом не обязательно концентрироваться на специфически восточных темах или локусах, поскольку изобретение Востока одновременно сопровождается изобретением Запада. Однако надо понимать, что именно восточные темы и образы в этом дискурсе первичны.

Кувшин Магомета – один из наиболее ярких восточных образов, репрезентирующих специфику ориентализма Ф.М. Достоевского. Эксплицитно в творчестве писателя он встречается несколько раз – в романе «Идиот» (1868) и в романе «Бесы» (1871–1872) [12. С. 300],

имплицитно – в образе Смердякова в романе «Братья Карамазовы» (1879–1880) и в записных книжках 1864–1865 гг. (о специфике и роли этих записей в творчестве писателя см. в работе Г.М. Фридлендера [15]), позволяя тем самым говорить о вполне сложившемся литературном мотиве, обладающем определенным нарративным потенциалом. Кувшин Магомета в творчестве Достоевского выполняет функции знака, обращенного к проблеме самоидентификации писателя: во всех случаях употребления этот образ обозначает не сам себя (предмет бытовой утвари арабского проповедника «лжеучения»), а нечто иное, поскольку расположен вне вещественного мира этих художественных текстов.

Чтобы рассмотреть, какие функции выполняет этот образ, прежде всего следует обратиться к его генезису. Ф.М. Достоевский и его читатели в общих чертах знали основные факты биографии Магомета – она была подробно описана в таких популярных источниках, как «Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre» Г. Вейля [16], «On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History» Т. Карлейля [17] и др. Косвенное отношение к этому вопросу имеет жизнеописание Магомета из предисловия к французскому переводу Корана К.-Э. Савари [18]: вряд ли Достоевский был знаком с этим старым французским изданием, но именно оно повлияло на гуманистическое восприятие мусульманского пророка А.С. Пушкиным в период создания цикла «Подражания Корану» и стихотворения «Пророк» [19] – эти тексты имеют конструктивное значение не только для ориентализма, но и для всего художественного мира Достоевского.

Обратимся к указанной выше работе Карлейля, блестящего английского лектора-импровизатора и проповедника, заслужившего при жизни репутацию «пророка». В главе «The Hero as Prophet. Mahomet: Islam», основанной на лекции, прочитанной 8 мая 1840 г., Карлейль одним из первых западных мыслителей рассматривает Магомета не как досадную ошибку истории и не как сознательного обманщика. Вопреки мнению Т.И. Орнатской и Г.М. Фридлендера [20. С. 495]) следует признать, что для конца 1830-х – начала 1840-х гг. Карлейль в целом рисует весьма положительный образ Магомета (главный его тезис: некое подобие христианства все же лучше глухого язычества). Он утверждает, что не может быть «случайным враньем» религия, которую исповедуют сто восемьдесят миллионов человек на протяжении двенадцати столетий, и восклицает: «Foggy and Juggler? No,

no! This great fiery heart, seething, simmering like a great furnace of thoughts, was not a juggler's» [17. P. 67]. И далее он добавляет, что главной чертой Корана была искренность: «Sincerity, in all senses, seems to me the merit of the Koran» [Ibidem]. Не боясь прослыть проповедником Корана, Карлейль соглашается с тем, что Магомет был восточным варваром, но варваром, достойным всяческого уважения и восхищения. И хотя коранический текст, по его мнению, не представляет в художественном отношении ничего ценного, он не скупится на похвалы человеческим качествам его автора. Достоевский мог познакомиться с выдержками из этой лекции на русском языке, опубликованными во втором номере «Современника» за 1856 г.

Однако наиболее вероятным источником образа кувшина Магомета в творчестве Достоевского по праву считается книга американского писателя В. Ирвинга «Mahomet and his successors» [21], впервые опубликованная в 1849 г. в Нью-Йорке и Лондоне и с тех пор многократно переиздававшаяся (например, в 1850, 1860, 1868, 1869, 1871 гг. и т.д., всего к настоящему моменту более 20 изданий). Читательский интерес к этому сочинению Ирвинга объясним не столько репутацией писателя, сколько несомненными достоинствами стиля и подхода к излагаемому материалу, во многом сходного с подходом Карлейля: оставив в стороне вопрос о научном содержании книги, следует сказать, что Ирвинг живо, просто и доходчиво рисует образ Магомета, органичный воображаемому европейцами Востоку. Яркости образа арабского пророка нисколько не мешали некоторые противоречия, подробно рассмотренные в исследовании Р. Дж. Ласины [22].

Достоевский познакомился с книгой Ирвинга в русском переводе П. Киреевского, вышедшем в Москве в 1857 г. под названием «Жизнь Магомета. Сочинение Вашингтона Ирвинга» [23]. Из этого перевода Достоевский узнает один из системообразующих сюжетов мусульманского мира – легенду о ночном путешествии Магомета в Иерусалим и оттуда – на седьмое небо на встречу с Аллахом: пророк совершил так называемый «миградж» с подачи архангела Гавриила на чудесном коне Аль-Бораке, встретился со всеми прежде бывшими пророками и получил от божества заповедь молитвы. При этом путешествие по земному времени было столь стремительным, что, «возвратясь, Магомет еще мог остановить совершенное падение сосуда с водою, который архангел Гавриил, улета, задел крылом» [23. С. 90]. Интересно, что Достоевский использует образ кувшина, а не «сосуда», как у Киреевского, или «вазы», «vase», как в английском оригинале [21. P. 95].

Эта во многих отношениях «замечательная» [24. С. 322] книга Ирвинга привлекла к себе внимание не только Достоевского. Так, например, во втором номере «Современника» за 1858 г. вышла в целом положительная рецензия Н.А. Добролюбова, из которой можно извлечь несколько любопытных замечаний.

Во-первых, критик в очередной раз отметит тот факт, что биография пророка Магомета – удел не узких специалистов, а вполне общеизвестный факт («Кому же неизвестна история жизни Магомета в главнейших ее фактах?» [25. С. 273]), который можно использовать для размышлений не только над проблематикой западно-восточных взаимодействий, но и для обсуждения важных общественно-политических, эстетических и философских проблем. Добролюбов, собственно, так и поступил: говоря о рецепции Магомета современными историками, критик ставит вопрос о естественном происхождении религии, сообразном «с характером самого учения и с характером народов, которые его приняли» [25. С. 275]. Таким образом, главное не то, как личности определяют историю, а то, что «вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени» [25. С. 273].

Во-вторых, подход Ирвинга к биографии великих личностей только утвердил Добролюбова в мысли, что необходимо воспринимать Магомета вне догматических стереотипов, как человека, наделенного слабостями во всей полноте его жизненной ситуации. Именно поэтому, считает Добролюбов, повторяя Карлейля и Ирвинга, не стоит считать Магомета корыстным обманщиком и завоевателем, воспламенившим на подвиги сонный восточный народ. Все эти стереотипы опровергаются подробным обзором исторических обстоятельств. Освобождая образ Магомета от догматических стереотипов, Добролюбов открывает путь к сопереживанию читателей мусульманскому проповеднику, обманутому своими видениями, возникшими вследствие эпилепсии (старое название, распространенное в XIX в., – «падучая болезнь»).

Характер восприятия эпилепсии, сложившийся в диалоге с книгой Ирвинга, является исходной точкой формирования мотива «кувшина Магомета» у Достоевского. Более того, следует признать, что специфика восприятия эпилепсии лежит в основе его ориентализма. Дело в том, что обращение Достоевского к сочинению Ирвинга объяснимо не только общим интересом общественности к восточным темам и западно-восточной дихотомии после Крымской

(восточной) войны 1853–1856 гг. (о чем в рецензии на книгу Н. Жеребцова «Efsai sur l'histoire de la civilisation en Russie» в 1858 г. писал Добролюбов [26. С. 256]) и благоприятными отзывами на новые западные труды о существовании магометанской религии, но прежде всего переживанием автора по поводу эпилепсии, мучительное осознание которой началось у писателя в 1850 г.¹ [27. С. 185]. Здесь принципиально важно, что важнейшая функция, которую выполняет в творчестве Достоевского мотив кувшина Магомета, непосредственно связана с мифопоэтикой и физиологией эпилептического припадка. Назовем эту функцию идентификационной.

Она напрямую обусловлена необходимостью писателя осмыслить свою «падучую болезнь» вне определений патологии. Вспомним, что современники Достоевского не раз упрекали его в «болезненном» характере воображения [27. С. 15–16] и не вполне здоровой сконцентрированности на определенных темах. Достоевский целенаправленно создает миф об особой роли эпилепсии в деле прозрения бытия – таком важном для художников и пророков. Так, например, в записной книжке Достоевского периода 1864–1865 гг. обнаруживается запись, в которой можно в большей степени увидеть скрытую аллюзию на Магомета (в меньшей – на Цезаря или Наполеона): «Да, я болен падучею болезнью, которую имел несчастье получить 12 лет назад. Болезнь в позор не ставится. Но падучая болезнь не мешает деятельности. Было много даже великих людей в падучей болезни, из них один даже полмира перевернул по-своему, несмотря на то, что был в падучей болезни» [30. С. 198]. Говоря об «одном из великих людей», Достоевский использует оборот «несмотря на», в котором видна досада, однако позднее, в романе «Идиот» (1868), оценка падучей кардинально меняется: теперь уже благодаря ней Мышкин сохраняет жизнь, а подробное описание припадка во всей его ужасающей неординарности становится способом автора объяснить уникальность персонажа. Миф формируется постепенно, но вполне целенаправленно.

¹ Справедливости ради отметим, что эта датировка признается не всеми исследователями, например, современник Достоевского С.Д. Яновский указывает, что приступы падучей случались в Петербурге «за три, а может быть, и более лет до арестовывания его по делу Петрашевского» [28. С. 431]. В официальных бумагах и письмах Достоевского семипалатинского периода делается упор на «падучую», вероятно, по двум причинам: в связи с усилением болезни и в связи с надеждой писателя использовать это как весомый аргумент для отъезда в столицу. Поэтому, обозначив 1850 г. точкой условного рождения этой проблемы, постараемся воздержаться от искушения напрямую связывать специфику восприятия эпилепсии Достоевским с биографическим эпизодом его жизни в восточном про странстве Сибири и казахской степи.

Идентификационная функция этого мифологического мотива определяет остальные: нарративную (участие в развитии сюжетных линий), интертекстуальную (связь с другими текстами Достоевского и с литературными традициями России, Востока и Запада), философскую (новый взгляд на пространственно-временную организацию мира) и этическую (участие в решении проблем истинных и ложных высказываний). О комплексе этих функций, прямо связанных одна с другой, следует сказать подробно, опираясь на тексты Достоевского в широком литературном контексте. Так, князь Мышкин, прежде чем упомянуть кувшин Магомета, рассуждает об эпилептическом приступе, актуализируя важность философской категории мгновения («минута», «секунда»), «за которые можно отдать жизнь». Позволим себе привести пространную цитату, вполне иллюстрирующую не только клиническую картину ауры, предшествующей эпилептическому припадку, но и философско-этическое восприятие этой ситуации Достоевским:

Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. <...> Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания, – если бы надо было выразить это состояние одним словом, – самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного <...> это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы [31. С. 188–189].

В эпизоде встречи на лестнице князя Мышкина и Рогожина, замыслившего его убийство, приступ падучей чрезвычайно важен и как сюжетный ход (Рогожин в испуге бежит от бьющегося в кон-

вульсиях князя, не совершив его убийства), и как повод к философскому обобщению. По этой причине Достоевский последовательно изучает припадок: каким его видят люди, а также то, что ощущает сам человек:

Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним: необычайный *внутренний* свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак. <...> В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы всё человеческое, и никак невозможно, по крайней мере очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление, на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое [31. С. 195].

Мотив внутреннего света, выделенного здесь Достоевским курсивом, имел чрезвычайное значение для автора. Он описывал это как внутренний очевидец подобных событий, сближая прозрение, наступающее в минуту эпилептического припадка, с понятием прозрения, имеющего место в минуту поэтического вдохновения, только описывая прозрение в припадке как более сильное и «мистическое». При этом Достоевский чувствует необходимость провести параллель (хотя бы и в формуле отрицания) с наркотическим опьянением от «хашиша, опиума или вина» [31. С. 188], формируя в тексте дополнительный восточный мотив: употребление гашиша и опиума обычно связывалось с восточным образом жизни. Таким образом, «усиление самосознания» и «необычайный внутренний свет» становятся критерием важнейшего события внутренней жизни творческого человека – «негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни» [31. С. 188], без чего немыслимо рождение подлинной художественности.

В романе «Бесы» мотив кувшина Магомета также появляется в контексте «падучей». Кириллов признается Шатову, что у него

один раз в три дня или в неделю случаются «минуты вечной гармонии». Кириллов описывает свое состояние, почти дословно повторяя ощущения князя Мышкина:

Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть, Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «да, это правда, это хорошо». Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о – тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит [32. С. 450].

Если допустить, что мысль об эпилепсии как мифологическом знаке и не была инициирована жизнеописаниями «эпилептика Магомета», а явилась собственным убеждением Достоевского, вероятно, после 1850 г., то даже в таком случае образ Магомета будет важен как еще одно подтверждение особой роли этого недуга в истории и культуре разных народов и стран.

Присутствие Магомета в цепочке знаменитых эпилептиков от Цезаря до Наполеона привносит в автометаописания Достоевского профетический код, независимо от этических и конфессиональных оценок его личности. В тексте Ирвинга мы можем обнаружить несколько упоминаний о падучей болезни Магомета, но главное – в контексте первого провозглашения архангелом Гавриилом Магомета как пророка. При этом в тексте возникает семантика яркого света: «Тогда Магомет внезапно почувствовал, что ум его озарился небесным светом, и он прочел письма на шелковой ткани, которые содержали в себе веления Божии, провозглашенные после в Коране. Когда он дочел, божественный посланник возвестил ему: “О Магомет! Воистину ты пророк Божий, а я Гавриил, Его ангел!”» [23. С. 38]. Ирвинг, со ссылкой на вопрос о падучей болезни, поставленный в жизнеописании Магомета Г. Вейля, настаивает на том, что только таким образом можно объяснить происхождение откровений мусульманского пророка [23. С. 39–40].

Этому провозглашению пророка и внезапному «озарению» Магомета во многих жизнеописаниях предшествует указание на то, что ангел Гавриил сжимал грудь перепуганного араба и требовал прочесть предлагаемый свиток. Тот отказывался, ссылаясь на свою неграмотность, и так повторялось трижды. Таким образом, прозрению бытия, этой вселенской гармонии откровения непременно предшествует физическая боль. И если в мифологическом нарративе эта боль – следствие насильственных действий ангела, то в медицинском ключе – это вероятные признаки какой-то патологии.

Поскольку первым, кто фундаментально ввел Коран и его автора в русскую высокую словесность, был А.С. Пушкин («Подражания Корану», «Пророк»), столь значимый для мировоззрения Достоевского, имеет смысл указать на тот факт, что мотив кувшина Магомета может быть концептуально связан с пушкинской связкой мотивов Магомета, Корана, прозрения бытия, поэтического вдохновения, а также проблемы назначения творчества. Мало кто обращал внимание на то, что натуралистическое превращение обычного человека в того, кто будет «жечь глаголом сердца людей» в стихотворении «Пророк», чрезвычайно напоминает эпилептический припадок. Приведем это стихотворение, выделив курсивом слова, соответствующие в своей совокупности концепции припадка «падучей» у Достоевского и Ирвинга:

Перстами легкими как *сон*
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у *испуганной* орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил *шум и звон*:
И внял я неба *содроганье*,
И горний ангелов *полет*,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим *приник*,
И *вырвал грешный мой язык*,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста *замершие* мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне *грудь рассек мечом*,
И сердце трепетное вынул,

И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал... [33. С. 304].

Итак, мы видим, что конструируется нарратив физических, весьма мучительных изменений состояния тела и психики персонажа, в общих чертах сходных с описаниями восторженной (экстатической) ауры, характерной при височной эпилепсии, и ее последствий у Достоевского (более подробно этот вопрос был рассмотрен в работах Дж. Райса [34] и Ф. Фари [35]): ужас, боль в груди, звон в ушах, прозрения всех сфер бытия, невозможность говорить и, наконец, обморочное (полумертвое) состояние. Ирвинг, как мы помним, приводил легенду о ритуальном рассечении груди Магомета [23. С. 18], а также со ссылкой на Вейля указывал, что звон в ушах – вернейший признак эпилептического припадка [23. С. 40]. Оставив за скобками вопрос о том, какую роль Пушкин отводил «падучей» в репрезентации коранической темы, отметим, что пространство и время в продолжение приступа не одинаковы для эпилептика и его наблюдателей, поэтому концепт длительного мгновения, когда человек успевал облететь небо, земной и подземный мир, вполне органичен и художественному миру пушкинского пророка, и художественному миру путешествующего на седьмое небо Магомета из повествования Ирвинга, и внутренним ощущениям Мышкина и Кириллова.

Ирвинг, разумеется, не верил в божественную миссию Магомета, ежеминутно разоблачая его как лжепророка, однако в заключение именно эпилепсия позволяет Ирвингу сделать невероятный вывод о самосознании Магомета, который так понравился Н.А. Добролюбову и вполне мог быть по достоинству оценен Достоевским:

Как скоро он раз убедился, что ему сам Бог повелел идти и проповедовать веру, то уже и все свои последующие сны и побуждения он мог относить к тому же источнику; все он мог почитать за внушения той же Божественной воли, различными путями ему посланные как пророку. Мы видим, что он, когда был особенно чем-нибудь взволнован, или убежден, нередко подвергался припадкам иступления; тогда он опять мог думать, что он в общении с Богом, и почти всегда за такими припадками следовало то, что Магометане называют откровением.

Вся сущность его поступков, до самого бегства из Мекки, обличает энтузиаста, который находился в каком-то умственном ослеплении и был убежден глубоко, что он послан для преобразования

веры: и есть что-то разительное и высокое в той дороге, которую его восторженный дух пробил себе сквозь запутанный лабиринт противоположных вер и диких преданий... [23. С. 255–256].

В приведенном отрывке из сочинения Ирвинга решается еще одна проблема, сформированная вокруг образа Магомета на Западе и значимая также для художественного мира Достоевского – проблема лжепророчества. Если до Ирвинга в подавляющем большинстве исследований считалось, что Магомет осознавал себя лжепророком, т.е. обманывал аравитян целенаправленно, то Ирвинг и вслед за ним Добролюбов и, наконец, Достоевский утвердили в русской словесности мысль о том, что Магомет был глубоко убежден в божественном источнике своей миссии. Невзирая на аспекты тирании, варварства и конфессиональной чуждости, которые обязательно сопутствовали его образу, Магомет получил более сложную интерпретацию в русской литературе второй половины XIX в., выйдя за пределы не только религиозной критики, но и поэтической условности.

Литература

1. *Futrell M.* Dostoyevsky and Islam (And Chokan Valikhanov) // *The Slavonic and East European Review*. 1979. Vol. 57. No. 1. P. 16–31.
2. *Thompson D.O.* Islamic motifs in Dostoevsky's Literary Works, 1846-1866 // *F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues*. Budapest: ELTE PhD Programme «Russian Literature and Literary Studies», 2009. P. 480–491.
3. *Young S.* Buddhism in Dostoevsky: Prince Myshkin and the True Light of Being // *Dostoevsky on the Threshold of Other Works: Essays in Honour of Malcolm V. Jones*. Nottingham: Bramcote Press, 2005. P. 220–229.
4. *Kuzma E.* Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze polskiej XIX–XX wieku. Szczecin: Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1980. 320 s.
5. *Poźniak T.* Dostojewski i Wschód. Szkice z pogranicza kultur. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. 147 s.
6. *Волгин И.Л.* Нравственные основы публицистики Достоевского: (Восточный вопрос в «Дневнике писателя») // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.* 1971. № 4. С. 312–324.
7. *Фокин П.Е.* К вопросу о генезисе «Дневника писателя» за 1876–1877 гг.: (Историко-литературный аспект) // *Достоевский: Материалы и исследования*. СПб., 1996. Т. 13. С. 120–130.
8. *Кочуков С.А.* Ф.М. Достоевский и русско-турецкая война 1877–1878 годов // *Изв. Саратов. гос. ун-та*. 2010. Т. 10. Сер. История. Международные отношения. Вып. 2. С. 69–73.
9. *Шаваринская С.Ф.* Достоевский и Толстой: диалог о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. // *Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова*. 2012. № 5. С. 142–145.
10. *Милойкович-Джурич Е.* Ответ Толстого и Достоевского на «восточный вопрос», 1875–1877. Образы себя и других // *Российско-сербские связи в области науки*

и образования: XIX – первая половина XX века / отв. ред. Э.И. Колчинский, А. Петрович; ред.-сост. М.В. Лоскутова, М.В. Хартанович. СПб., 2009. С. 47–55.

11. *Уразаева К.* Философская публицистика Федора Достоевского и статьи Чокана Валиханова: евразийство и этнология русскости // *Cuadernos de Rusística Española*. 2014. № 10. P. 111–122.

12. *Алексеев П.В.* Мусульманский Восток в поэтике Ф.М. Достоевского // *Вестн. Ом. ун-та*. 2013. № 4. С. 298–301.

13. *Алексеев П.В.* Восток в творческом сознании Ф.М. Достоевского периода Крымской войны // *Имагология и компаративистика*. 2016. № 1 (5). С. 30–43.

14. *Алексеев П.В.* Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX века: от А.С. Пушкина к Ф.М. Достоевскому. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 348 с.

15. *Фридлендер Г.М.* Новые материалы из рукописного наследия художника и публициста // *Литературное наследство*. М., 1971. Т. 83. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. С. 93–122.

16. *Weil G.* Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre. Stuttgart: Merzler'schen Buchhandlung, 1843. 450 s.

17. *Carlyle T.* On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History. London: Chapman and Hall Limited, 1840. 303 p.

18. Le Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes, et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés. Paris, Amsterdam, Leyde, etc. chez les libraires associés, 1786. 516 p.

19. *Алексеев П.В.* «Le Coran» Савари как источник «Подражаний Корану» А.С. Пушкина // *Сибирский филологический журнал*. 2013. № 3. С. 36–43.

20. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 1. 519 с.

21. *Irving V.* Mahomet and his successors. New York; London: The Co-operative Publication Society, 1849. 616 p.

22. *Lacina R.G.* Inconsistencies in Washington Irving's characterization of Mahomet in the first volume of Mahomet and His Successors // *Retrospective Theses and Dissertations*. 1990. Paper 58. 48 p.

23. *Жизнь Магомета.* Сочинение Вашингтона Ирвинга / пер. с англ. П. Киреевского. М., 1857. 290 с.

24. *Книжный вестник.* Журнал книжно-литературной деятельности в России. 1864. № 17. 15 сент.

25. *Добролюбов Н.А.* Собрание сочинений: в 9 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. Т. 2. 499 с.

26. *Добролюбов Н.А.* Собрание сочинений: в 9 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. Т. 3. 485 с.

27. *Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского:* в 3 т. СПб.: Гуманитарное Агентство «Академический проект», 1999. Т. 1. 543 с.

28. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28, кн. 1. 552 с.

29. *Волгин И.* Поверх барьеров. Загадка «Дневника писателя» // *Достоевский Ф.М. Дневник писателя:* в 2 т. М., 2011. Т. 1. С. 5–40.

30. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 20. 432 с.

31. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 8. 511 с.

32. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1974. Т. 10. 518 с.

33. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 2. 399 с.

34. Rice J.L. Dostoevsky's medical history: Diagnosis and dialectic // *The Russian Review*. 1983. Vol. 42. № 2. P. 131–161.

35. Fari F. Epilepsy and Literary creativeness: Fyodor M. Dostoevsky // *Friulian Journal of Science*. 2003. Vol. 3. P. 51–67.

F.M. DOSTOEVSKY AND MAHOMET'S PITCHER

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 126–141. DOI: 10.17223/24099554/7/8

Pavel V. Alekseev, Gorno-Altai State University (Gorno-Altai, Russian Federation). E-mail: conceptia@mail.ru

Keywords: Dostoevsky, Irving, Pushkin, Dobrolyubov, Russian Orientalism, Mahomet, epilepsy, motif, pitcher.

The paper is supported by RHSF Grant no. 15-34-01258 “The Orient in the Prose and Journalism of F.M. Dostoevsky”.

The paper examines the genesis and functions of the Oriental motif of Mahomet's pitcher in his perception of epilepsy. Mahomet's pitcher is one of the most remarkable Oriental images, representing the specificity of Dostoevsky's Orientalism. In his works this image appears explicitly in *The Idiot* (1868) and *Demons* (1871–1872), implicitly in his notebooks of 1864s–1865s years, and as a hidden motif in the image of Smerdyakov in *The Brothers Karamazov* (1879–1880), which, without doubts, is indicative of a well-established literary motif. The main sources for this motif were *Mahomet and His Successors* (1849) by W. Irving in the Russian translation of 1857, *Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre* (1843), by G. Weil, *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History* (1841) by T. Carlyle. The underlying source for the motif complex of epilepsy, Mahomet and the epiphany of existence in Russian literature was A. Pushkin's poem *The Prophet* (1826). In this paper the author makes an assumption about the proximity between the images of Mahomet and the persona in *The Prophet* in terms of epilepsy literary reception, which was very important for Dostoevsky. The most important function of this motif is that of identification. In its turn, it determines the others: narrative (participation in the development of storylines), intertextual (linking with other Dostoevsky's works and Russia, Oriental and Western literary traditions), philosophical (a new look at the spatial-temporal organization of the world) and ethical (participation in solving the problem of true and false statements).

References

1. Futrell, M. (1979) Dostoevsky and Islam (And Chokan Valikhanov). *The Slavonic and East European Review*. 57(1). pp. 16–31.
2. Thompson, D.O. (2009) Islamic motifs in Dostoevsky's Literary Works, 1846–1866. In: Kroó, K. & Szabó, T. (eds) *F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues*. Budapest: ELTE PhD Programme “Russian Literature and Literary Studies”. pp. 480–491.

3. Young, S. (2005) Buddhism in Dostoevsky: Prince Myshkin and the True Light of Being. In: Young, S. and Milne, L. (eds) *Dostoevsky on the Threshold of Other Works: Essays in Honour of Malcolm V. Jones*. Nottingham: Bramcote Press. pp. 220–229.
4. Kuzma, E. (1980) *Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze polskiej XIX–XX wieku* [The Myth of Orient and Western Culture in Polish Literature of the Nineteenth–Twentieth Century]. Szczecin: Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.
5. Poźniak, T. (1992) *Dostojewski i Wschód. Szkice z pogranicza kultur* [Dostoyevsky and the East. Cross-border sketches of cultures]. Wrocław: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
6. Volgin, I.L. (1971) *Nravstvennyye osnovy publitsistiki Dostoevskogo (Vostochnyy vopros v “Dnevnikhe pisatelya”)* [The moral bases of Dostoevsky’s journalism (The Eastern question in “A Writer’s Diary”)]. *Izvestiya AN SSSR. Ser. literatury i yazyka*. 4. pp. 312–324.
7. Fokin, P.E. (1996) K voprosu o genezise “Dnevnika pisatelya” za 1876–1877 gg. (Istoriko-literaturnyy aspekt) [On the genesis of “A Writer’s Diary” for 1876–1877]. In: Budanova, N.F. & Fridlender, G.M. (eds) *Dostoevskiy: Materialy i issledovaniya* [Dostoevsky: Materials and Research]. Vol. 13. St. Petersburg: Nauka. pp. 120–130.
8. Kochukov, S.A. (2010) F.M. Dostoevskiy i russko-turetskaya voyna 1877–1878 godov [F.M. Dostoevsky and the Russian-Turkish War of 1877–1878]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya – Izvestiya of Saratov University. history. International Relations*. 10(2). pp. 69–73.
9. Shavarinskaya, S.F. (2012) Dostoevskiy i Tolstoy: dialog o russko-turetskoy voyne 1877–1878 gg. [Dostoevsky and Tolstoy: A dialogue about the Russian-Turkish war of 1877–1878]. *Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova*. 5. pp. 142–145.
10. Milojkovic-Djuric, E. (2009) Otvet Tolstogo i Dostoevskogo na “vostochnyy vopros”, 1875–1877. Obrazy sebya i drugih [The answer of Tolstoy and Dostoevsky to the Oriental question, 1875–1877. Images of self and others]. In: Kolchinskiy, E.I. & Petrovich, A. (eds) *Rossiysko-serbskie svyazi v oblasti nauki i obrazovaniya: XIX – pervaya polovina XX veka* [Russian-Serbian ties in science and education: the 19th – early 20th centuries]. St. Petersburg: Nestor-Istoriya. pp. 47–55.
11. Urazaeva, K. (2012) Filosofskaya publitsistika Fedora Dostoevskogo i stat’i Chokana Valikhanova: evraziystvo i otnologiya russkosti [Philosophical publicism of Fyodor Dostoevsky and the article by Chokan Valikhanov: Eurasianism and the attitude of Russianness]. *Cuadernos de Rusística Española*. 10. pp. 111–122.
12. Alekseev, P.V. (2013) Musul’manskiy Vostok v poetike F.M. Dostoevskogo [The Muslim East in F.M. Dostoevsky’s poetics]. *Vestnik Omskogo universiteta*. 4. pp. 298–301.
13. Alekseev, P.V. (2016) The Orient in the creative mind of Fyodor Dostoevsky during the Crimean war. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1(5). pp. 30–43. DOI: 10.17223/24099554/5/2
14. Alekseev, P.V. (2015) *Kontseptosfera oriental’nogo diskursa v russkoy literature pervoy poloviny XIX veka: ot A.S. Pushkina k F.M. Dostoevskomu* [The concept sphere of oriental discourse in the Russian literature of the first half of the 19th century: From A.S. Pushkin to F.M. Dostoevsky]. Tomsk: Tomsk State University.
15. Fridlender, G.M. (1971) Novye materialy iz rukopisnogo naslediya khudozhnika i publitsista [New materials from the manuscript heritage of the artist and publicist]. In: Zilbershteyn, I.S. & Rozenblyum, L.M. (eds) *Literaturnoe nasledstvo. Neizdannyy Dostoevskiy. Zapisnye knizhki i tetradi 1860–1881 gg.* [Literary heritage. Unpublished Dostoevsky. The notebooks of 1860–1881]. Vol. 83. Moscow: Nauka. pp. 93–122.

16. Weil, G. (1843) *Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre* [Mohammed the Prophet, his life and his doctrine]. Stuttgart: Merzlerschen Buchhandlung.
17. Carlyle, T. (1840) *On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History*. London: Chapman and Hall Limited.
18. Savari, M. (ed.) (1786) *Le Coran, traduit de l'arabe, accompagné de notes, et précédé d'un abrégé de la vie de Mahomet, tiré des écrivains orientaux les plus estimés* [The Koran, translated from Arabic, accompanied by notes, and preceded by an abridgment of the life of Mahomet, taken from the most esteemed Oriental writers]. Paris, Amsterdam, Leyde: [s.n.].
19. Alekseev, P.V. (2013) "Le Coran" Savari kak istochnik "Podrazhaniy Koranu" A.S. Pushkina ["Le Coran" by Savary as a source of "Imitations of the Koran" by A.S. Pushkin]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 36–43.
20. Dostoevsky, F.M. (1972) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 1. Leningrad: Nauka.
21. Irving, W. (1849) *Mahomet and his successors*. New York; London: The Co-operative Publication Society.
22. Lacina, R.G. (1990) Inconsistencies in Washington Irving's characterization of Mahomet in the first volume of "Mahomet and His Successors". *Retrospective Theses and Dissertations*. Paper 58.
23. Irving, W. (1857) *Zhizn' Magometa. Sochinenie Vashingtona Irvinga* [The life of Mohammed. By Washington Irving]. Translated from English by P. Kireyevsky. Moscow: V Universitetskoy Tipografii.
24. *Knizhnyy vestnik. Zhurnal knizhno-literaturnoy deyatel'nosti v Rossii*. (1864). 17.
25. Dobrolyubov, N.A. (1962a) *Sobranie sochineniy: v 9 t.* [Collected Works: In 9 vols]. Vol. 2. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo khud. literatury.
26. Dobrolyubov, N.A. (1962b) *Sobranie sochineniy: v 9 t.* [Collected Works: In 9 vols]. Vol. 3. Moscow; Leningrad: Gos. izd-vo khud. literatury.
27. Yakubovich, I. & Ornatskaya, T. (eds) (1999) *Letopis' zhizni i tvorchestva F.M. Dostoevskogo: v 3 t.* [The Chronicle of Life and Creativity of F.M. Dostoevsky: In 3 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Akademicheskiiy proekt.
28. Dostoevsky, F.M. (1985) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 28. Leningrad: Nauka.
29. Volgin, I. (2011) Poverkh bar'erov. Zagadka "Dnevnika pisatelya" [Over the Barriers. The riddle of "A Writer's Diary"]. In: Dostoevsky, F.M. *Dnevnik pisatelya: v 2 t.* [A Writer's Diary: In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Knizhnyy klub 36.6. pp. 5–40.
30. Dostoevsky, F.M. (1980) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 20. Leningrad: Nauka.
31. Dostoevsky, F.M. (1973) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 8. Leningrad: Nauka.
32. Dostoevsky, F.M. (1974) *Polnoe sobranie sochineniy: v 30 t.* [Complete Works: In 30 vols]. Vol. 10. Leningrad: Nauka.
33. Pushkin, A.S. (1977) *Polnoe sobranie sochineniy: v 10 t.* [Complete Works. In 10 vols]. Vol. 2. Leningrad: Nauka.
34. Rice, J.L. (1983) Dostoevsky's medical history: Diagnosis and dialectic. *The Russian Review*. 42(2). pp. 131–161.
35. Fari, F. (2003) Epilepsy and Literary creativeness: Fyodor M. Dostoevsky. *Friulian Journal of Science*. 3. pp. 51–67.

К.В. Анисимов

**«...В РАЗОРВАННОЙ КИБИТКЕ, ПОСРЕДИ КУР
И ДОБРЫХ БАШКИРЦЕВ».**

**Л.Н. ТОЛСТОЙ ИНВЕРТИРУЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРИЕНТАЛИЗМ
(ТВОРЧЕСТВО И ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО
В БАШКИРСКОЙ СТЕПИ)¹**

В статье рассматривается геокультурное преломление толстовской установки на подрыв состоятельности знаковой и письменной деятельности. Пространством для постановки очередного эксперимента в этой области предстает башкирская степь, где писатель не раз бывал «на кумысе». Быт башкир привлекается романистом в качестве инструмента для критики главных положений ориентализма и европоцентризма XIX в. (знания-власти, письма как знаковой подмены и «отражения» реальности, символов доминирования и гибридизации). В фокусе анализа оказываются жизнетворческое поведение, материализующее отвлеченный знак в непосредственности и «телесности» жеста, а также нарративные практики (в качестве примера привлечен роман «Анна Каренина»), в которых «неназванные» башкиры приближаются к миру героев, олицетворяющих «живую жизнь».

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, роман «Анна Каренина», жизнетворчество, ориентализм, постколониализм, гибридизация, семиотика, нарратология, метатекст.

В пореформенное время историческая интрига с русским продвижением в регионе восточного Поволжья и Южного Урала состояла в подключении территорий, на которых кочевали еще не оседлые башкиры, к административному распределению и купле-продаже земли. Отчуждение ранее неприкосновенных владений было разрешено специальным Положением от 10 февраля 1869 г. [1. С. 355]. Таким образом, пространство фронта, на котором действовали специальные режимы управления, вводилось в число так называемых «внутренних губерний». Процесс этот, впрочем, был небыстрым и противоречивым; многочисленные нарушения, неизбежно сопровождавшие замену «естественного» образа жизни госу-

¹ Статья выполнена в рамках интеграционного проекта УрО РАН «Формирование национальных художественных систем пермских литератур в социокультурном ландшафте России конца XIX – первой половины XX века».

дарственным принуждением, жестокой экономической целесообразностью, а нередко и элементарным произволом, сразу же попали в фокус левой русской публицистики – отметим здесь работы народников Ф.Д. Нефёдова и Г.И. Успенского, относящиеся к 1880–1890-м гг.¹, в которых драма вхождения кочевого этноса в структуру современной государственности освещена порой в панических интонациях (характерно заглавие очерка Успенского «Башкир пропадает»).

Толстой, знаток края, купивший в 1871 г. имение в Бузулукском уезде², который с конца XVIII столетия в ходе разных территориальных переделов принадлежал то Самарской, то Оренбургской губерниям, рассмотрел проблемы башкир иначе. Он глубоко осветил многие экономические и, как следствие, нравственные передраги процессов крестьянской колонизации и в целом «огосударствления» этого края, никогда, впрочем, не преследуя эту цель как главную для себя. Башкирский опыт толстовских поездок «на кумыс» отчетливо обрёл два аспекта: жизнетворческий и художественный, резко контрастирующие с писаниями народников, с которыми на уровне общей темы романист совпадал порой буквально. Например, очерк Нефёдова «На кумысе» действительно посвящен башкирам, но дневниковые записи Толстого об аналогичном пребывании «на кумысе» подчеркнуто ориентированы на сознание самого автора. Похожим образом действует и художественная логика: в зарисовках депутации «инородцев» в «Анне Карениной», а также увлечений А.А. Каренина государственным управлением в степи башкиры, о которых, собственно, и идет речь³, предстают вообще неназванными – насколько в дневниках находящегося посреди башкир Толстого интересует он сам, настолько же и в данном случае автора волнует главным образом его герой.

¹ Алгоритм лихоимств раскрыт уфимским публицистом и краеведом Н.В. Ремезовым. См.: [2. С. 24–26; 31–33]. Сделанные буквально «с натуры» очерковые зарисовки на тему русских переселенцев и их взаимоотношений с башкирами приобрели немалую известность. См. также другую работу автора [3], в которой скупка башкирских земель рассматривается на примере конкретных жизненных историй.

² Как известно, писатель посещал степную часть Самарской губернии десять раз. Весной 1862 г., накануне первой поездки, Толстой заподозрил у себя начинающийся туберкулез и по совету врача и будущего тестя А.Е. Берса отправился на кумысолечение в приволжские степи. Второе путешествие, вызванное теми же причинами, состоялось летом 1871 г.

³ В числе прототипов героя был П.А. Валуев, который в начале 1870-х гг. был министром государственных имуществ, а затем ушел в отставку после скандалов с хищениями башкирских земель.

Основная задача работы заключается в том, чтобы показать приемы этой интериоризации Толстым башкирской жизни, интериоризации, повторим, направленной по двум путям – к жизне-творческому эксперименту и романной поэтике. На подрыв практик европейского ориентализма, т.е. уничтожение всякой знаковой дистанции по отношению к этническому Другому, обращали внимание С. Лейтон и Б.А. Успенский, привлекая материал знаменитых «кавказских» повестей писателя [4–5]. Башкирская тема в этом теоретическом аспекте пока находится вне поля зрения исследователей¹.

* * *

Толстовское понимание колонизационных процессов регулировалось несколькими тезисами, принципиально связанными с картиной мира самого художника.

В отличие от современников, отталкивавшихся от социальной коллизии и размещавших свою оценочную позицию в ее пространстве, Толстой точкой отсчета полагал философию и психологию, средоточием которых была экзистенциальная проблема смерти. В своей поздней работе о писателе И. Бунин точно отметил, что для Толстого «если есть бессмертие, то только в безличности» [10. С. 140]. В этой перспективе единственная мысль, заключенная, например, в рассказе «Много ли человеку земли нужно» (1886), выполненном на башкирском материале, – это мысль о пагубности личного начала, в данном случае показанного на примере русского крестьянина, в котором выпячены черты индивидуальности, потенциально поглощающей Всё. А башкиры поданы здесь в свете безличного, потому они символизируют Истину, но исторически показаны как абстракция.

Внеисторическая по своей сути рефлексия смерти приводила тем не менее к конструктивной перестройке именно исторического нарратива: судьба башкир как один из эпизодов в жизни русского фронта волевым образом вписывалась в нравственный кругозор автора-моралиста. Так, начав в конце 1870-х гг. свою «Исповедь», сочинение, открывающее череду «моралистических» текстов, Толстой назвал свое турне «на кумыс» первым импульсом на пути к будущей критической ревизии социального мира, понимаемого как реальность, подчиненная ложным целям.

¹ Между тем в русле традиционной проблемы межнационального диалога интерес Толстого к Поволжью и Приуралью нашел отражение во множестве исследований культурологического и краеведческого характера. См., например: [6–9].

В продолжение года я занимался посредничеством, школами и журналом¹ и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась деятельность моя в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же – в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить, что я заболел более духовно, чем физически, – бросил все и поехал в степь к башкирам – дышать воздухом, пить кумыс и жить животной жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился [11. С. 9–10].

Примечательно, что эта закономерность срабатывает и в обратном направлении – когда резкой историко-политической реинтерпретации подвергаются тексты, давно уже автоматизированно воспринимающиеся как отвлеченные нравственные обобщения. Так, в трактате «В чем моя вера?» заповедь Христа «возлюбите врагов ваших» конкретизируется именно как запрет межплеменных войн. Слово «враг» было понято Толстым-интерпретатором Евангелия буквально – как «иноплеменник».

Ближний на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. И потому, предполагая, что противоположение, которое выставляет Христос в этом месте, приводя слова закона: вам сказано: любите ближнего и ненавидь врага, состоит в противоположении между земляком и чужеземцем, спрашиваю себя, что такое враг по понятиям иудеев, и нахожу подтверждение своего предположения. Слово враг употребляется в Евангелиях почти всегда в смысле врагов не личных, но общих, народных <...>. Единственное число, в котором употреблено слово враг в этих стихах в выражении *ненавидь врага*, показывает мне, что здесь речь идет о враге народа. Единственное число означает совокупность вражеского народа. В Ветхом Завете понятие вражеского народа всегда выражается единственным числом [11. С. 364–365].

При философской «возгонке» проблема колонизации с ее неприемлемой для Толстого логикой доминирования заставила вывести за скобки идею власти – главного, по Э. Саиду, игрока всякого ориенталистского процесса, генерирующей в художественной литературе то, что Л. Вульфом, который следовал здесь за Саидом, было удачно названо «стилем интеллектуального обладания» [12. С. 40]. Вместо власти, символическому разрушению которой писатель всегда уде-

¹ Речь идет о журнале «Ясная Поляна».

лял пристальное внимание, в 60–70-е гг. им была предложена идея безличной (внесубъектной) силы движения, а сама колонизация в этой перспективе была уподоблена явлениям природы – в пору написания романа «Война и мир» с центральными для его поэтики органицистскими метафорами это был, в общем, закономерный и предсказуемый ход. Так, в записной книжке 1868 г., проблематика которой подводила к историософской части эпилога «Войны и мира», романист отметил главную, как ему казалось, тенденцию европейской истории:

В известном нам мире – стремление с северо-запада на юго-восток, умеряемое только плотностью населения и противудавлением других сил. Россия завоевывает Кавказ, Крым, Грузию и т. д. Франция удержала только Африку. Испания только Мексику. Сардиния Италию. Пруссия Германию. Северо-американские штаты юг. Англия весь запад. Швеция завоевала бы Европу, но давление России. <...> *Размещение есть вся задача истории.* Законы размещения и кочевания животных. Никто не скажет, что первый тетерев был Аттила; а отыскиваем общие причины. – Прогресс – свобода передвижения, быстрота передвижения, вытекает из перемещения, и только одно имеет это значение [13. С. 109–110].

Конечно, с особой силой звучат здесь выделенный курсивом тезис «Размещение есть вся задача истории» и замечательная фраза «Никто не скажет, что первый тетерев был тетерев Аттила».

* * *

Начнем анализ с освещения приемов толстовского житнетворчества «посреди кур и добрых башкирцев», как выразилась в послании к мужу от 14 июля 1871 г. С.А. Толстая [14. С. 192]. Первым делом отметим, что избранный писателем способ отдыха был радикальнее всех остальных – настолько, что даже издавшие виды народники, как, например, тот же Ф.Д. Нефедов, пасовали перед перспективой остаться надолго в степи, предпочитая для кумысолечения гостиницы вполне уже европеизированной Уфы.

Но для людей, привыкших хоть к какому-нибудь разнообразию в выборе пищи <...> лечение в кочевках является делом невозможным: целое лето надо есть одну баранину (барашка очень вкусного) без хлеба и обходиться исключительно посредством одних пальцев своих рук. Отсутствие самых элементарных удобств жизни заставляет вас предпочитать город или «заведение» лечению на степном приволье [15. С. 120].

Главным источником, связанным с первой, наиболее знаковой, поездкой Толстого «на кумыс», являются воспоминания Василия Морозова, вышедшие в издательстве «Посредник» в 1917 г. Бывший ученик яснополянской школы вспоминал лето 1862 г., когда он вместе со своим товарищем Черновым был взят молодым писателем в его первое путешествие к башкирам. Стратегия воспоминаний Морозова крайне характерна: став уже взрослым человеком, автор с неизжитым за многие годы удивлением крестьянского мальчишки описывает «странности» в поведении графа. По существу, вся поездка с ее первого шага – отправления – предстает как апробация будущего опрощения.

В пестрой фактографии первого путешествия выделяется несколько лейтмотивных линий, фиксация которых Морозовым позволяет проследить направления толстовского житнетворческого эксперимента. Вспомним, что «Исповедь», ориентированная на Руссо, на первый план выдвинула концепт «животной жизни». Стремление Толстого прорваться сквозь завесу знаков и клише социального поведения позволяет увидеть в дневниковых записях о пребывании «на кумысе», например, проект будущего «Холстомера»: «Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что *мы на траве*, – как лошади» [14. С. 182]. Напомним, что первым именем лошади Холстомера «по родословной» было «Мужик 1-й», а Холстомер – только прозвище «по-уличному».

– Да, я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й. Я Мужик 1-й по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России [16. С. 13].

Параллелью к «животному» началу закономерно становится «детское» окружение писателя – на взгляд нейтрального наблюдателя, действительно, довольно странное. При этом «детское» словно будит в поведенческом репертуаре Толстого явно театральные приемы и анекдотические ситуации, в которые путешественники попадают сразу по выезде. Интересно, что сам романист отделяется лишь скупой записью в дневнике, лаконизм которой говорит о том, что со своей собственной точки зрения он ведет себя вполне заурядно. «Поехал в 3-м классе тихого поезда. Народа нет. В Твери история с билетами – извинения» [13. С. 40].

Но вот Морозов придерживается иного мнения, и посвящает «истории с билетами» несколько страниц. В Твери, вспоминает ме-

муарист, неряшливо одетый Толстой был принят начальством станции за простолудина и оттерт в дальний конец очереди на получение багажа. Уязвленный молодой писатель был вынужден открыть карты, обнаружить себя, графа и автора нескольких уже прогремевших на всю Россию сочинений, чем ввел начальника станции в состояние, похожее на то, в каком пребывал Тонкий из знаменитого чеховского рассказа «Толстый и тонкий».

...Нам нужно было <...> получить багаж. Там шел какой-то беспорядок. Принимали, выдавали, торопились, выносили, но не нам. Лев Николаевич остановил одного багажного, подает ему квитанцию на получение багажа. Багажный обвел глазами и Льва Николаевича, и нас, и, не взяв квитанцию, сказал:

– Успеете, – видишь, сколько господ! – и юркнул. «Тут, мол, не до вас, ховралей, – нужно заработать!»

Лев Николаевич предложил другому и третьему, – все такой же ответ: «успеешь»!

Лев Николаевич начинал волноваться. Вот идет какой-то господин в форменном картузе, – видимо, начальник какой-то. Лев Николаевич останавливает его и заявляет ему претензию на багажных.

– Квитанции не берут и багажа не выдают, да еще грубят. Пожалуйста, поторопите их. Я еду с детьми, непривычными к дороге, у них головы кружатся.

Начальник взглянул на Льва Николаевича и нас и, повыся голос, сказал:

– Успеете, и дети ваши будут живы, не перемрут. Смотрите, все заняты, работают, – освободятся, тогда и вам выдадут. <...>

– Вы ночевать меня хотите оставить?

Начальник посмотрел еще на Льва Николаевича и нас, детей, не подозревая, с кем он говорит, и проговорил:

– Фу, какой тяжелый человек, шумиха!

Лев Николаевич начал горячиться и сорвался:

– Вы знаете, с кем говорите и кого оскорбляете? Я – граф Лев Толстой, – и Лев Николаевич назвал себя автором какого-то сочинения, не упомяну какого, и еще пригрозил начальнику станции, что он про него напишет в газеты.

Начальник станции вытаращил глаза и как в обмороке машинально опустил руки по швам с растопыренными пальцами.

– Виноват, виноват, простите, ваше сиятельство! – несвязно бормотал он.

Багаж наш явился как бы по щучьему велению <...>

Начальник, провожая нас до извозчиков и идя рядом со Львом Николаевичем, твердил одно и то же: «Простите, виноват». <...>

Начальник жаловался на беспокойство службы и нервное расстройство, семейный, пятеро детей, мать-старушка [17. С. 96–97].

Вероятнее всего, нарядом, пославшим ложный сигнал начальнику станции об общественном положении путешественника, было «поношенное пальто» Толстого, упомянув которое мемуарист специально подчеркнул: «Лев Николаевич никогда хорошо не одевался» [17. С. 92]. Здесь В.С. Морозов, конечно, неправ – ниже он, противореча себе, подчеркивает, что по прибытии в Москву Толстой делал визиты «каждый день в хорошем одеянии и в шляпе» [17. С. 95]. Однако в целом тенденция подмечена верно: выходец из крестьян и носитель соответствующего типа ментальности, Морозов не мог не обратить внимание на, как он выразился, «простоту и чудачества Льва Николаевича» [17. С. 88].

Точно так же, в полном соответствии со «словарем» и правилами народной культуры, эксцентричность писателя и графа в его нарядах трактуется как шутовство и скоморошество – характерен такой, например, диалог:

– Теперь я вам расскажу, что я надумал новенького, – сказал Лев Николаевич: – хочу бросить свое хозяйство, барскую жизнь, перейти на крестьянство, выстроить хату себе на краю деревни, женюсь на деревенской девке, буду работать, как вы, косить, пахать, во всякую работу.

– Что ж, батраком быть, людям на посмешище, – сказал Игнат.

– Зачем батраком, работать буду на себя, для своего хозяйства, для семьи. <...>

– А если над тобой будут смеяться: вот, мол, прогорелый барин Толстов, обнищал, сам работает, тебе не стыдно будет? – спросили мы. <...>

– Так я думаю: не велик смех работать, а велик смех и ругань за то, что я не работаю, живу лучше вас, мне стыдно. <...>

Похоже, всякий думал, что Лев Николаевич правду говорит или шутит – как можно из барина сделаться мужиком [17. С. 55–56].

Наконец, игровые мотивы в социальном поведении и в одежде прямо подводят жизнетворческую стратегию Толстого к игре как таковой.

В сценарии игры Толстой добивался перехода на эмоциональный «язык» новой для него среды – тем самым дезавуируя заложенный, казалось бы, в самой природе колонизационных и переселенческих процессов социальный и лингвистический конфликт.

...С некоторыми (башкирами. – К.А.) происходил все башкирские игры, и во всём он участвовал. И всякий его любил за свое, и это продолжалось каждый день за всё время, что мы там прожили [17. С. 104].

На первом месте в играх были те, что предполагали непосредственный телесный контакт: купание и борьба.

Частенько устраивал Лев Николаевич с башкирами игры. В играх принимали участие и большие и маленькие, и, конечно, мы с Черновым. Игры были такие: играли в чехарду. <...> Еще играли в игру, которая называется, как помню, по-башкирски «пшалоyle». Сделан круг на земле, в кругу ямочка, несколько шаров, шары эти гнались палками в ямочку, из ямочки выбивался шар, за ним бегали, схватывали <...> смеху бывало много. Еще бывало Лев Николаевич боролся с башкирами. Бороться он был большой охотник. Он был сильный богатырь, и ему не находилось противников. Только один башкир был равный ему по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить [17. С. 108].

* * *

Вторым типом использования Толстым его башкирских впечатлений стало внедрение их в ткань художественных произведений. Наше внимание будет сосредоточено на ключевом примере: это «не-названные» башкиры, вошедшие в поле образа А.А. Каренина, одного из главных героев романа «Анна Каренина».

Вспомним, что на «низовом» уровне процесс, получивший в эти же годы название «народная колонизация», понимался Толстым как бесконфликтный. Степану Берсу, шурина и спутнику Толстого в поездке к башкирам 1871 г., принадлежит такое замечание:

Льву Николаевичу очень нравились отношения между местными крестьянами и магометанами. Взаимная веротерпимость и очень часто дружба между этими разными по вероисповеданиям лицами действительно свидетельствовали о свободе, в которой долго жило тамошнее население [18. С. 60].

Однако исторически predetermined напряжение между двумя укладами – кочевым и приходящим ему на смену земледельческим – существовало: оно задавалось неумолимой логикой внутренней колонизации Урало-Поволжского региона. Сын писателя С.Л. Толстой вспоминает свои относящиеся к 1873 г. разговоры с башкиром Мухамедшахом Рахматуллиным, другом отца, которого последний приглашал в свое степное имение делать кумыс. Автор мемуаров с сожалением, но трезво и практично подытоживает:

В прежнее время у всех (башкир. – *К.А.*) были кочевки (кибитки), а теперь живут круглый год в зимовках (избах); прежде были большие табуны лошадей, а теперь есть башкиры совсем без лошадей; прежде десятки кочевков съезжались на свадьбы и праздники, съезжали по несколько лошадей и много овец; бывали скачки, кумыс пили вволю, пели, играли на курае (род дудки) и на горле, а теперь башкиры обеднели и ничего этого нет [19. С. 36].

Причиной обеднения башкир было не только отнятие части их земель русской государственной властью для закрепления земель за русскими крестьянами и для награждения сановников. За выделом этих земель наделы башкир были все-таки гораздо больше крестьянских. Причиной обеднения и даже вымирания башкир была неприспособленность их к земледельческому образу жизни [19. С. 37].

Такое понимание колонизации степи повлияло на внедрённые в историко-политические блоки романа «Анна Каренина» рассуждения о миссии русского крестьянства. В споре со сторонниками технического, утилитарного реформаторства (тема, навеянная волновавшим Толстого в течение всех 1870-х гг. и как бы «параллельным» «Анне Карениной» замыслом романа об эпохе Петра I¹) – Вронским, Свяжским и другими «западниками» романа Константин Лёвин сначала обдумывает, а потом и высказывает выношенное им соображение, что русский народ, имеющий призвание заселять и обрабатывать огромные незанятые пространства сознательно, до тех пор, пока все земли не заняты, держался нужных для этого приемов и что эти приемы совсем не так дурны, как это обыкновенно думают [21. С. 362].

Через некоторое время мысль повторяется:

¹ О нём см. подробнее в специальной статье А.М. Панченко [20].

...русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он (Лёвин. – К.А.) поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания заселить огромные, незанятые пространства на востоке [22. С. 255].

И хотя упоминания о русских мужиках и «инородцах» в «Анне Карениной» не случайно соединены – споры об орошении крестьянских полей и размещении инородцев звучат в одних и тех же пассажах повествователя, в этой истории продвижения на восток оказывается один отчетливо лишний элемент – власть, персонифицированная в образе А.А. Каренина.

Глубина толстовского анализа проявляется, например, в том, что никакие чиновничьи лихоимства, о которых было много шума в оппозиционной печати тех лет, писателя не интересуют – его герой честный, умный и работоспособный администратор. Вместе с тем трагедия его личности, причина будущего саморазрушения открываются из роковой, отчасти бессознательной приверженности к властвованию, понимающей романистом не как простая способность указывать и повелевать, а тот самый «стиль интеллектуального обладания», выражающийся в продуцировании знаков, письма или того, что Толстой, формируя концептуальный стержень образа Каренина, в чисто семиотическом ключе назвал «отражениями жизни» [21. С. 151].

Ориентализм как «интеллектуальная власть», по общеизвестному слову Саида [23. С. 35], зависящего здесь от М. Фуко, набрасывал сеть знаков, тех самых «отражений», на свой объект, описывал, классифицировал и, по этой логике, подчинял его. При этом не только интеллектуальная «механика», но сама психология того, что после Саида именуется ориентализмом, представлялась Толстому универсальной, всеобъемлющей. В этой перспективе отношение Каренина-отца к его сыну Сереже является характерно ориенталистским – безотносительно к отсутствующему факту этнической дисканции.

Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним – так чувствовал Сережа – как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем

не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком [22. С. 96].

Доминирование над объектом и воображение его свойств на основе книжных образцов – со стороны властного субъекта; подчинение и приспособление к транслируемому образцу – со стороны подчиненного объекта; книга (что характерно – Библия) как ложный посредник в квазиобщении между тем и другим – по этим чисто ориенталистским лекалам автор романа рисует сцену детского одиночества и отцовской мстительной, «дисциплинирующей» любви. В тот же смысловой контур внедрена и одна из решающих сцен романа, в которой фигурируют неназванные восточные инородцы, перипетии судьбы которых заимствованы Толстым из жизни поволжских и приуральских башкир.

Впервые на страницах романа инородцы знаково появляются в центральный момент перелома в истории Анны и, как следствие, в композиционном ритме всего романа. После символически многозначной и во многом кульминационной сцены скачек, падения Вронского, гибели лошади Фру-Фру и признания Анны мужу в неверности автор надолго покидает трех главных героев сюжетной линии Анны и интерполирует рассказ о них выдержанными в духе спокойного бытописания сценами лечения Кити на водах в Европе и деревенских будней Лёвина. Возвращение к трагическому узлу романа происходит позднее – приемом резкого наведения повествовательной оптики на А.А. Каренина, решающего в тиши своего кабинета дальнейшую судьбу неверной жены, всё более и более превращающейся с этих пор в жертву.

Все интересующие нас фрагменты обрамлены одним навязчивым действием Каренина – чтением и письмом¹. Именно здесь, в отношении к этой черте героя приуральские башкиры приобретают крайне важную функциональную отмеченность. Значимость письма как одной из ключевых толстовских идеологем была характерно опознана именно исследователями имперских нарративов. Так, одной из первых на этот аспект образной поэтики писателя обратила внимание С. Лейтон, анализировавшая повесть «Хаджи-Мурат» и отметившая, что в ней «...возвышена стихия устной речи кавказцев и русских крестьян и, напротив, письменное слово дискредити-

¹ Общую картину письма как метатекстуальной практики в «Анне Карениной» см. в работе Н.Е. Меднис [24]. Данной статье, впрочем, предшествовали более детальные исследования проблемы: [25–26].

ровано ввиду его сращенности с бесчеловечными структурами государства» [4. С. 264]. Исследовательница полагает, что в «Хаджи-Мурате» Толстой особенно настойчиво «понижает значение письменного слова как ложного медиатора, одновременно повышая статус устной речи как проводника высшей правды» [4. С. 274]. Описанная С. Лейтон тенденция со всей очевидностью проявила себя задолго до «Хаджи-Мурата».

В первой группе эквивалентных соответствий чтение соединяется с самыми зловещими символами толстовского романа – сталью, ножом и разрезанием. Так, сразу же после открытия ему женой ее связи с Вронским Каренин обращается к *написанию* письма Анне о том, что «семья не может быть разрушена по капризу, произволу или даже преступлению одного из супругов» [21. С. 299], а также к *чтению*, к которому, издавна рассматривая его как «привычку, сделавшуюся необходимостью» [21. С. 118], он приступает, вооружившись и «играя массивным ножом» [21. С. 300]. Нож, как мы знаем из целого ряда работ¹, отсылает к лейтмотивной линии разрезания тела, организующей весь сюжет Анны, – от момента гибели станционного сторожа до ее собственной смерти под колесами товарного поезда. На пути из Москвы домой незадолго до случившегося на станции Бологое объяснения ей Вронским в любви Анна также читает книгу. В ее руках нож. Отвлечшись, она «провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею» [21. С. 107].

Вторая смысловая составляющая этой группы мотивов – семиотическая. Чтение, письмо и в целом вся организуемая ими жизнь описываются как *подмена* или, используя концептуальный язык романа, – «отражение». Особенно явственно эта мысль Толстого предстает в повествовательном соотношении обеих сцен, которые обнаруживают связь – невзирая на большую дистанцию между ними. Углубляясь в читаемый роман², Анна, внутренне невольно уже вставшая на путь будущей измены и саморазрушения, ощущает, что ей «неприятно было читать, то есть следить за *отражением жизни*

¹ О семантике расчлененного тела в «Анне Карениной» см. раздел в книге О. Матич [27. С. 48–53]. Специально об образе разрезного ножа и семантике разрезания см. замечания Б. Лёнквист [28. С. 22–23; 26] и Э. Мэнделькер [29. С. 136–137]. Последний автор считает нож символическим атрибутом самого Каренина.

² Исследователь предполагает, что читаемый Анной текст сконструирован из общих мест романов Энтони Троллопа и Эллен Вуд. См.: [30].

других людей. Ей слишком самой хотелось жить» [21. С. 106]. Увлеченная своими чувствами, она в конечном счете «не могла понимать того, что читала» [21. С. 107].

Знаковые формы, измерение вполне чуждое Анне, вовлеченность в которое губит ее, является, напротив, естественной средой обитания Каренина. Написав письмо жене, он погружается в чтение новой книги о «евгюбических надписях» [21. С. 300]. Комментарий романа Э.Г. Бабаев пояснил, что это «таблицы на умбрийском диалекте, найденные в 1444 г. в городе Gubbio (Италия), который в средние века назывался Eugubbium» [31. С. 488]. То есть в руках Каренина – текст о тексте, знак о знаках, *отражение отражения*, если воспользоваться словом самого Толстого как метаописательным понятием. Параллелизм комментируемых сцен вновь дает о себе знать: как и Анна, утратившая в определенный момент эмоциональный контакт с английским романом, Каренин, постигающий тайны «евгюбических надписей», «смотрел в книгу и думал о другом» [21. С. 300]. Но если «другим» для Анны была жизнь, зарождающаяся, хотя пока еще безадресная страсть, то для Алексея Александровича «другим» были в этот момент пропущенные сквозь жернова бюрократического языка башкирские степняки – орошение «полей Зарайской губернии» и «устройство» тамошних «инородцев». С упоением, «с чуть заметной улыбкой самодовольства» [21. С. 301] Каренин переходит от чтения к письму – другому излюбленному им занятию, фетишизация которого дошла до страсти к самим письменным принадлежностям. Например, в сцене у адвоката упомянуты «письменные принадлежности, до которых Алексей Александрович был большой охотник». Специально подчеркнута причина любопытства: они «были необыкновенно хороши» [21. С. 385]. Так и в данный момент: он «вынул из стойки карандаш» [21. С. 301] и сначала ознакомился с делом, а потом принялся набрасывать свой план его решения, состоящий точно из пяти пунктов и опирающийся на документы за № 17015 и 18308 «от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864» [21. С. 302]. Канцелярская детализация здесь, конечно, злая ирония автора, голос которого на мгновение соединился с диктующим самому себе свои письма Карениным. Сеть параграфов, цифр, дат документов и номеров законов – инструмент власти, описывающей, классифицирующей и подчиняющей. Необходимым условием в реализации этой стратегии является, по М. Фуко, *знание*. Без знания об «инородцах» и их землях, требующих

или, наоборот, не требующих орошения, отправление Алексеем Александровичем его службы делалось невозможным.

Отдельный вопрос здесь: как же мыслилось самому Толстому общение между имперской администрацией и этнографически, конфессионально и хозяйственно неоднородной периферией? – прежде всего как *непосредственный* контакт. Продолжая развивать башкирскую тему, романист мельком говорит, что степняки сами направились в Петербург с желанием поведать о своих нуждах, ибо, как это понял еще Каренин, из созданного о них вороха бумаг так и не стало ясным, «действительно ли бедствуют и погибают инородцы, или процветают» [21. С. 391]. Власть и знание разошлись в разные стороны, а стопки исписанных документов, относящихся к ним, превратились в знаки без актуального содержания, новые «евгюбические надписи». «Вздор и только исписанная бумага» – так охарактеризованы в кульминационный момент схватки Каренина со Стремовым донесения комиссии с мест [21. С. 391].

В противовес Каренин сам предпринимает попытку сблизиться с предметом своего интереса: он решается на поездку в восточные области государства. «...Испросив разрешение, Алексей Александрович отправился в дальние губернии» [21. С. 391]. Однако инородцы встречены героем уже в Москве. Закономерно, что сцену общения с ними Толстой освещает как столкновение непосредственного и опосредованного типов коммуникации¹. Так, инородцы «...были наивно уверены, что их дело состоит в том, чтоб излагать свои нужды и *настоящее положение вещей, прося помощи* правительства...» [21. С. 397]. Однако Карениным общение с башкирами сразу же конвертируется в характерно ориенталистскую ситуацию писания *о них*, но при этом *за них* и *вместо них*, когда имперский чиновник присваивал себе субъектность инородца и выступал от лица нового фиктивного субъекта. Посредующей инстанцией, как нетрудно понять, выступало здесь, как и в предыдущих случаях, письмо, т.е. практика производства знаков. «Алексей Александрович долго возился с ними, *написал им программу*, из которой они не должны были выходить, и, отпустив их, *написал письма в Петербург* для направления депутации» [21. С. 397].

Причем в строгом соответствии с правилами поэтики «сцеплений», теоретизированными Толстым именно в ходе создания «Анны Карениной», семантический контур ориентализированного объекта

¹ О поэтике коммуникации у Толстого см. в работе О.В. Сливицкой [32].

расширяется, и читатель замечает, что в функционально схожей роли перед ним предстает и неверная жена Алексея Александровича. Вся долгая история с инородцами оттеняет смысловой стержень романа, с которого в начале 1870-х гг. и начал развиваться его замысел: отношение обманутого мужа к изменившей ему жене. Дело в том, что на той же странице, на которой автор возвращается к злоключениям депутации башкир, он сообщает о том, что Каренин, пытаясь найти выход из тупика отношений с Анной, договорился с адвокатом и «перевел это дело *жизни* в дело *бумажное*» [21. С. 397]. «Жизнь» здесь, конечно, концептуальное понятие, заставляющее вспомнить об «отражениях жизни» как основе образа Каренина. Так, башкирская тема делается неотъемлемым участником главной психологической, духовной драмы романа.

Любопытно, что, осмысливая семантику письма, Толстой «сшивает» две разнородные реальности – фикционального текста и аутентичного житетекста: мотивы из романа вторгаются в его частную переписку середины – конца 1870-х гг. Так, саму повседневную практику создания текста «Анны Карениной», *писание* как инструментальное слагаемое творчества, Толстой противопоставлял своим жизнестроительным экспериментам в степи. 2 августа 1875 г. не без некоторого вызова он сообщал Н.Н. Страхову: «Мы приехали 3-го дня (из Самары. – К.А.) благополучно. Я не брал в руки пера два месяца и очень доволен этим. Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю бога только о том, чтобы он дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук...» [33. С. 197]. В письме к Фету мысль повторена: «Я два месяца не пачкал рук чернилами и сердца мыслями, теперь же берусь за скучную, пошлую Каренину...» [33. С. 199]. Последний образ прямо перекликается с более поздним замечанием из записной книжки 1879 г.: «Не затем родились люди, чтобы чернилами на бумаге установить свою веру, а затем, чтобы жить в правде и чистоте» [13. С. 255]. «Чернила», «пачкающие» «руки» и «бумагу», негативно маркируют всю символическую сферу ума, мысли, социальности в целом, т.е. ту сферу, в которой, не будем забывать, локализована и фигура автора. Очевидно, однако, что художник создает не в последнюю очередь автобиографический роман: Лёвин – несомненное *alter ego* Толстого. Где локализуется этот персонаж в системе намеченных писателем противопоставлений?

Особый интерес для нас представляет знаменитая сцена общения Лёвина с Облонским в ресторане – сцена, как представляется, выпи-

санная при помощи активно задействованного здесь постколониального «словаря»¹. В качестве одной из повторяющихся характеристик своего автобиографического героя Толстым выбрана *дикость*. В разговоре, который демонстрирует всё несходство Облонского и Лёвина, Стива, пригласивший своего друга разделить его изысканную и дорогую трапезу, заявляет ему: «Ты и так дик. Все вы, Лёвины, дики» [21. С. 40]. В окружающем эту фразу диалоге слово «дикий» произнесено около десяти раз.

Долго и подробно описываемое Толстым чревоугодие Стивы обслуживается официантом-татаринном, предстающим здесь в качестве «субалтерна», как называют такие фигуры в постколониальных исследованиях. В фокусе толстовского анализа оказывается язык общения служителя трактира с его клиентом. Кулинарные приоритеты Облонского – чисто западные, а точнее – французские. Приказания он отдает по-русски, а татарин, характерно мимикрируя, переводит заказ Облонского на привычный самому клиенту французский язык – структурно этот прием напоминает нам уже знакомую сцену обучения Карениным Сережи, в которой ребенок, чтобы угодить дисциплинирующему намерению отца, надевал на себя поведенческую маску «книжного мальчика». Так и здесь: «Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: “суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи...”» [21. С. 38].

Черты «субалтерна» в образе татарина-официанта подчеркнуты: «Облонский снял пальто и со шляпой набекрень прошел в столовую, отдавая приказания липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками»; «Сюда, ваше сиятельство <...>, – говорил особенно липнувший старый, белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака» [21. С. 37]. Не желая присоединяться к галломанской кулинарной страсти Облонского, Лёвин заявляет, что ему «лучше всего щи и каша» [21. С. 38]. Официант, однако, немедленно конвертирует замечание своего клиента в гибридную русско-французскую форму, давая понять читателю, что позиция субалтерна – в заранее отведенной ему ячейке именно европоцентристского мира: «Кашу а ля русс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над

¹ Психологический и лингвистический комментарий к ней см. в книге Б. Лёнквист [28. С. 74–75].

Лёвиным» [21. С. 38]. Знаменательно, что в первой редакции романа Толстым специально подчеркнут языковой пуризм Лёвина (тогда еще – Ордынцева), нежелание общаться на гибридной смеси языков. «Ордынцев отвечал и говорил по-французски замечательно изящным языком и выговором и не так, как его собеседник, перемешивая русский с французским. Заметен был некоторый педантизм в том, что он, раз решив, что глупо мешать два языка, отчетливо говорил на том или на другом» [34. С. 692]¹. Как нетрудно понять, структурная позиция, являющаяся наиболее ущемленной в разговорах Лёвина с Облонским и официантом, – это позиция России и всего русского, которые, с одной стороны, в перспективе ориенталистского описания и контроля превращаются в «а ля русс» точно так же, как татарин делается «французским» грамотеем в европейском фраке с фалдами, а с другой – в перспективе Облонского, представляющего здесь Европу, определяются как «дикость».

Итак, анализ подсказывает, что одним из звеньев, интегрирующих двусюжетное строение «Анны Карениной», является группа мотивов, в которых установление государственного контроля над имперскими перифериями представлено как характерно ориенталистские описание и систематизация. Особенностью романа является расширение автором смысловых и композиционных возможностей образов «иностранцев»: в едином функциональном контуре «описываемых» оказываются и башкиры «Зарайской губернии», и русские мужики, технологические эксперименты над которыми ставит землевладелец Вронский, и в конечном счете сам Лёвин, ищущий возможность отказаться от реформизма, продолжающего сценарий форсированной модернизации (не будем забывать здесь о не покидавшей творческую память Толстого в 1870-е гг. фигуре Петра I). Отталкиваться от интереса работника, способствовать положению, «при котором народ будет богаче, будет больше досуга, – и тогда будут и школы» [21. С. 356], а не наоборот – этот критерий социального, но одновременно и нравственного отношения к человеку позволял Толстому типологически объединить, но при этом и критически переосмыслить ключевые составляющие власти – семейной, экономической и имперской.

¹ «Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский» было одним из самых ранних правил, сформулированных Толстым в дневнике лично для себя [35. С. 40].

В сознании Толстого башкиры наследовали образам казаков и кавказцев, а в перспективе «Хаджи-Мурата» оказывались посредующим звеном при возвращении романиста к его давней теме естественного человека. Выступая, как правило, в роли этнографических декораций нравоучительной истории (рассказы «Много ли человеку земли нужно» и «Ильяс»), концептуальным значением степные аборигены наделяются в «Анне Карениной», где читатель видит их в положении сообщества, подконтрольного имперской администрации, причем герой, реализующий замыслы этой администрации, дискредитируется.

Не будучи столь ярко индивидуализированы, как герои-«кавказцы», башкиры локализовались на эстетической «карте» толстовского наследия вдалеке от романтической экзотики «кавказского» образца. По этой причине опыт пребывания в степи давал художнику возможность запустить излюбленный им алгоритм металитературной рефлексии, заключавшейся в стремлении выйти за рамки обременяющей литературную деятельность условности. «Есть литература литературы – когда предмет литературы есть не сама жизнь, а литература жизни, и литература литературы 999/1000 всего пишущегося», – отметил романист 26 ноября 1871 г. [13. С. 112]. И если воспроизведение Кавказа, подчиненное мощной литературной инерции, таковую условность заставляло остраниать и преодолевать, то башкирская степь, не имея своих романтических описателей («Капитанская дочка» и «История Пугачева» Пушкина предстают здесь исключениями, лишь подтверждающими это правило), делалась пространством контрлитературных поведенческих экспериментов; «кумысное состояние» [14. С. 199] начинало предвещать будущее опрощение. Данное обстоятельство обусловило локализацию башкирской темы у Толстого преимущественно в сфере эго-документальных текстов. В фундаментально важной для писателя истории осмысления им своего *Я* башкиры оказывались в непосредственной близости от авторской личности.

Литература

1. *Россия и степной мир Евразии: очерки* / под ред. Ю.В. Кривошеева. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. 432 с.
2. *Ремезов Н.В.* Очерки из жизни дикой Башкирии: Переселенческая эпопея. М., 1889. 260 с.

3. Ремезов Н.В. Очерки из жизни дикой Башкирии: Быль в сказочной стране. М., 1889. 306 с.
4. Layton S. Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 372 с.
5. Успенский Б.А. Пушкин и Толстой: тема Кавказа // Успенский Б.А. Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 27–48.
6. Рахимкулов М.Г. «Башкиры меня знают и очень уважают...» // Рахимкулов М.Г. Любовь моя – Башкирия. Литературно-краеведческие очерки. Уфа, 1985. С. 90–130.
7. Перчик Л.С. «Сплелись корнями наши племена...»: (Лев Толстой и Башкирия). Челябинск, 1996. 125 с.
8. Юнусов И.Ш. Национальное и инациональное в русской прозе второй половины XIX века (И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Л.Н. Толстой). СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. 399 с.
9. Юнусов И.Ш. Постигание чужого в творчестве Л.Н. Толстого: учеб. пособие. Москва; Бирск: Бирский гос. пед. ин-т, 2002. 70 с.
10. Бунин И.А. Освобождение Толстого // Собр. соч.: в 6 т. М., 1988. Т. 6. С. 5–145.
11. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1957. Т. 23. 583 с.
12. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 567 с.
13. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1952. Т. 48. 538 с.
14. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1938. Т. 83. 635 с.
15. Нефедов Ф.Д. На кумысе (из впечатлений и рассказов) // Нефедов Ф.Д. В горах и степях Башкирии: Повесть и рассказы. Уфа, 1988. С. 118–133.
16. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1936. Т. 26. 949 с.
17. Морозов В.С. Воспоминания о Л.Н. Толстом. М.: Посредник, 1917. 136 с.
18. Берс С.А. Воспоминания о графе Л.Н. Толстом. Смоленск, 1894. 81 с.
19. Толстой С.Л. Очерки былого. 3-е изд., испр. и доп. Тула: Приок. кн. изд-во, 1968. 500 с.
20. Панченко А.М. «Народная модель» истории в набросках Толстого о Петровской эпохе // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль. Л., 1979. С. 66–84.
21. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1934. Т. 18. 557 с.
22. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1935. Т. 19. 518 с.
23. Саид Э. Ориентализм: Западные концепции Востока. СПб.: Русский мир, 2006. 637 с.
24. Меднис Н.Е. Письмо в повествовательной ткани и в сюжете романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» // Поэтика русской литературы в историко-культурном контексте. Новосибирск, 2008. С. 411–420.
25. Carroll T. Sports / Writing and Tolstoy's Critique of Male Authority in *Anna Karenina* // Tolstoy Studies Journal. 1990. Vol. 3. P. 21–32.
26. Weir J. Anna Incommunicada: Language and Consciousness in *Anna Karenina* // Tolstoy Studies Journal. 1995–1996. Vol. 8. P. 99–111.
27. Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М.: Новое лит. обозрение, 2008. 400 с.
28. Лёнквист Б. Путешествие вглубь романа. Лев Толстой: Анна Каренина. М.: Языки славянской культуры, 2010. 128 с.

29. Mandelker A. Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel. Columbus: Ohio State University Press, 1993. 241 p.

30. Cruise E. Tracking the English Novel in *Anna Karenina*: who Wrote the English Novel that Anna Reads? // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by D.T. Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 159–182.

31. Бабаев Э.Г. Комментарий // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1981. Т. 8. С. 478–494.

32. Сливцкая О.В. «Война и мир»: человеческое общение как поэзия и как проблема // Сливцкая О.В. «Истина в движении»: О человеке в мире Толстого. СПб., 2009. С. 61–304.

33. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1953. Т. 62. 572 с.

34. Толстой Л.Н. Анна Каренина / изд. подгот. В.А. Жданов, Э.Е. Зайденшнур. М.: Наука, 1970. 912 с.

35. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М., 1937. Т. 46. 573 с.

«...IN A TATTERED WAGON, AMID CHICKENS AND KIND BASHKIRS»: LEO TOLSTOY INVERTS WESTERN ORIENTALISM (CREATIVITY AND LIFE-CREATIVITY IN THE BASHKIR STEPPE)»

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 142–165. DOI: 10.17223/24099554/7/9

Kirill V. Anisimov, Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation), Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Keywords: Leo Tolstoy, *Anna Karenina*, life-creativity, orientalism, postcolonialism, hybridization, semiotics, narratology, metatext.

The paper is prepared within the integration project of the UrB RAS “Formation of National Art Systems of Perm Literatures in the Sociocultural Landscape of Russia at the end of the 19th – in the first half of the 20th centuries”.

In the time of Alexander II's Great Reforms the Russian settlers' advance in the regions of the Volga and the southern Urals presupposed the inclusion of territories, where Bashkirs were leading their nomadic life, into the regimes of administrative distribution and buy / sell operations. The takeover of these lands was permitted by a special Order that was issued on Feb. 10, 1869. Hence, the frontier spaces which by that time had been submitted to the special forms of imperial control were now equated with the so called “internal governorates”. However, the whole process was slow and full of contradictions because of numerous violations that were accompanying the substitution of the “natural” way of life with administrative compulsion and cruel economic rationalism. Tolstoy's comprehension of these realities was directed along two ways: firstly, to the artistic representation (the novel *Anna Karenina* and a number of short stories based on the Bashkir theme) and, secondly, to the elaboration of the symbolic gesticulation of a man who was systematically practicing summer voyages, unexpected in the cultural context of the time, to the steppe for medical treatment with kumis and, as Tolstoy himself put it later, for living a “zoological life”. This preoccupation with “zoological life” was represented as a procession of theatrical scenes overtly directed to the external observer who could see the situations of changing dress with the following confusion of social statuses and experiments with corporality expressed in physical competitions with the Bashkirs (wrestling, swimming,

horse race). The introduction of the Bashkir experience into the narrative was regulated by the general understanding of colonization as an impersonal “relocation” (“obtaining places is the only purpose of history”) of peoples when the role of the authorities was symbolically abolished by the author. The embodiment of this ideological concept in the narrative of *Anna Karenina*, firstly, brought into action one metatextual device that had already been noticed by literary scholars – discredit of a character who is adherent to writing, scripting, “paper affairs” which are juxtaposed to the “affairs of life”. Secondly, in the semiotic perspective the question is about Tolstoy’s polemics with the very principle of how sign forms conceived by the novelist as “reflections of life” are produced. The entwining of the theme of aborigines who live in the concocted “Zaraysk Governorate” (which never existed in reality) with this philosophic and aesthetic discussion, the immersion of Alexei Karenin, the main incarnation of power in the novel, in the problems of nomads – all this converts a number of corresponding episodes of the narration into situations that resemble postcolonial writing and its pivotal themes – seeking an authentic identity, experiencing hybridisation, collision of diverse social and behavioural languages.

References

1. Krivosheev, Yu.V. (ed.) (2006) *Rossiya i stepnoy mir Evrazii. Ocherki* [Russia and the steppe world of Eurasia. Essays]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
2. Remezov, N.V. (1889) *Ocherki iz zhizni dikoy Bashkirii. Pereselencheskaya epopeya* [Essays from the life of wild Bashkiria. The resettlement epic]. Moscow: Tovari-shchestvo I.N. Kushnerev i K°.
3. Remezov, N.V. (1889) *Ocherki iz zhizni dikoy Bashkirii. Byl' v skazochnoy strane* [Essays from the life of wild Bashkiria. Events in a fairytale country]. Moscow: Tovari-shchestvo I.N. Kushnerev i K°.
4. Layton, S. (1994) *Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Uspenskiy, B.A. (2004) Pushkin i Tolstoy: tema Kavkaza [Pushkin and Tolstoy: the theme of the Caucasus]. In: Uspenskiy, B.A. *Istoriko-filologicheskie ocherki* [Historical and philological essays]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
6. Rakhimkulov, M.G. (1985) “Bashkiry menya znayut i ochen' uvazhayut...” [“The Bashkirs know me and respect me very much . . .”]. In: Rakhimkulov, M.G. *Lyubov' moya – Bashkiriya. Literaturno-kraevedcheskie ocherki* [My love, Bashkiria. Literary and regional studies essays]. Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
7. Perchik, L.S. (1996) “Spelis' kornyami nashi plemena...” (*Lev Tolstoy i Bashkiriya*) [“The roots of our tribes intertwined . . .” (Leo Tolstoy and Bashkiria)]. Chelyabinsk: ChGIIK.
8. Yunusov, I.Sh. (2002) *Natsional'noe i inonatsional'noe v russkoy proze vtoroy poloviny XIX veka (I.S. Turgenev, I.A. Goncharov, L.N. Tolstoy)* [The national and the foreign in the Russian prose of the second half of the 19th century (I.S. Turgenev, I.A. Goncharov, L.N. Tolstoy)]. St. Petersburg: Herzen Russian State Pedagogical University.
9. Yunusov, I.Sh. (2002) *Postizhenie chuzhogo v tvorchestve L.N. Tolstogo* [Comprehension of the alien in the creativity of L.N. Tolstoy]. Moscow; Birk: Birk State University.
10. Bunin, I.A. (1988) *Osvobozhdenie Tolstogo* [Liberation of Tolstoy]. In: Bunin, I.A. *Sobr. soch.: v 6 t.* [Works: in 6 vols]. Vol. 6. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

11. Tolstoy, L.N. (1957) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 23. Moscow: GIKhL.
12. Vul'f, L. (2003) *Izobretaya Vostochnuyu Evropu: Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniya* [Inventing Eastern Europe: A map of civilization in the consciousness of the Enlightenment]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
13. Tolstoy, L.N. (1952) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 48. Moscow: GIKhL.
14. Tolstoy, L.N. (1938) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 83. Moscow: GIKhL.
15. Nefedov, F.D. (1988) Na kumyse (iz vpechatleniy i rasskazov) [On kumis (from impressions and stories)]. In: Nefedov, F.D. *V gorakh i stepyakh Bashkirii. Povest' i rasskazy* [In the mountains and steppes of Bashkortostan. Stories]. Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izdatel'stvo.
16. Tolstoy, L.N. (1936) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 26. Moscow: GIKhL.
17. Morozov, V.S. (1917) *Vospominaniya o L.N. Tolstom* [Memories of L.N. Tolstoy]. Moscow: Posrednik.
18. Bers, S.A. (1894) *Vospominaniya o grafe L.N. Tolstom* [Memories of L.N. Tolstoy]. Smolensk: Tipo-litografiya F.V. Zel'dovich.
19. Tolstoy, S.L. (1968) *Ocherki bylogo* [Essays of the past]. 3rd ed. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo.
20. Panchenko, A.M. (1979) "Narodnaya model'" istorii v nabroskakh Tolstogo o Petrovskoy epokhe [The "People's Model" of history in Tolstoy's essays about the Petrine Era]. In: Galagan, G.Ya. & Prutskova, N.I. (eds) *L.N. Tolstoy i russkaya literaturno-obshchestvennaya mysl'* [L.N. Tolstoy and Russian literary-social thought]. Leningrad: Nauka.
21. Tolstoy, L.N. (1934) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 18. Moscow: GIKhL.
22. Tolstoy, L.N. (1935) *Poln. sobr. soch.*: v 90 t. [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 19. Moscow: GIKhL.
23. Said, E. (2006) *Orientalizm. Zapadnye kontseptsii Vostoka* [Orientalism. Western concepts of the East]. Translated from English St. Petersburg: Russkiy mir.
24. Mednis, N.E. (2008) Pis'mo v povestvovatel'noy tkani i v syuzhete romana L.N. Tolstogo "Anna Karenina" [A letter in the narrative fabric and in the plot of Anna Karenina by L.N. Tolstoy]. In: Porkrovskiy, N.N. & Silant'ev, I.V. (eds) *Poetika russkoy literatury v istoriko-kul'turnom kontekste* [Poetics of Russian literature in the historical and cultural context]. Novosibirsk: Nauka.
25. Carroll, T. (1990) Sports / Writing and Tolstoy's Critique of Male Authority in Anna Karenina. *Tolstoy Studies Journal*. 3. pp. 21–32.
26. Weir, J. (1995–1996) Anna Incommunicada: Language and Consciousness in Anna Karenina. *Tolstoy Studies Journal*. 8. pp. 99–111.
27. Matich, O. (2008) *Eroticheskaya utopiya: novoe religioznoe soznanie i fin de siècle v Rossii* [Erotic Utopia: a new religious consciousness and the fin de siècle in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
28. Lönnqvist, B. (2010) *Puteshestvie vglub' romana. Lev Tolstoy: Anna Karenina* [Journey into the depths of the novel. Leo Tolstoy: Anna Karenina]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
29. Mandelker, A. (1993) *Framing Anna Karenina. Tolstoy, the Woman Question, and the Victorian Novel*. Columbus: Ohio State University Press.

30. Cruise, E. (2010) Tracking the English Novel in *Anna Karenina*: who Wrote the English Novel that Anna Reads? In: Orwin, D.T. (ed.). *Anniversary Essays on Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 159–182.
31. Babaev, E.G. (1981) Kommentariy [Commentary]. In: Tolstoy, L.N. *Sobr. soch.: v 22 t.* [Works: in 22 vols]. Vol. 8. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
32. Slivitskaya, O.V. (2009) “Voyna i mir”: chelovecheskoe obshchenie kak poeziya i kak problema [War and Peace: human communication as poetry and as a problem]. In: Slivitskaya, O.V. (2009) “*Istina v dvizhen’i*”: *O cheloveke v mire Tolstogo* [“Truth in movement”: About a man in the world of Tolstoy]. St. Petersburg: Amfor.
33. Tolstoy, L.N. (1953) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 62. Moscow: GIKhL.
34. Tolstoy, L.N. (1970) *Anna Karenina*. Moscow: Nauka. (In Russian).
35. Tolstoy, L.N. (1937) *Poln. sobr. soch.: v 90 t.* [Complete Works: in 90 vols]. Vol. 46. Moscow: GIKhL.

Сузи К. Франк

СОЛОВЕЦКИЙ ТЕКСТ. Часть 1

Статья представляет собой попытку описания «соловецкого текста» русской литературы. Ее первая часть ставит вопрос о символической континуальности топоса с изменчивой исторической судьбой и, соответственно, с радикальной семантической перекодировкой из монастыря в ГУЛаг и предлагает опыт систематизации материала и обзора его эволюции от древней истории до середины XX в.

Ключевые слова: Соловки, Соловецкий монастырь, Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), «соловецкий текст», символическая континуальность, эволюция локального текста.

Если исходить из того, что локальный гипертекст конституирован определенной топикой и базисным нарративом (*masterplot*), как это показал В.Н. Топоров в своем исследовании «Петербургского текста», и что он проецируется на другие города и регионы (например, Урал или Сибирь) самыми разнообразными способами, то «Соловецкий текст» не так-то легко поддается определению. В первую очередь возникает вопрос: как можно говорить о символической континуальности топоса с такой изменчивой исторической судьбой и, соответственно, с такой радикальной семантической перекодировкой из монастыря в ГУЛаг? И нужно ли, следовательно, дифференцировать разновидности соловецкого текста, обусловленные историей топоса и находящиеся в конкурентных отношениях? Далее я хотела бы предложить опыт подобного рода систематического описания – и при этом более детально остановиться на исторически наиболее поздних и для реконструкции «Соловецкого текста» особенно важных этапах¹.

Но для начала – короткий обзор истории Соловков, призванный обосновать тезис о стабильности политического и символического значения региона для истории России в целом.

¹ См. во второй части статьи в следующем номере журнала. *Примеч. ред.*

І. Центр на краю

Монастырь на одном из группы так называемых Соловецких островов, населенных с эпохи неолита, о чем свидетельствуют лабиринты, сохранившиеся на Заяцком острове, был одним из многочисленных русских монастырей, основанных в XV в. Однако в ходе русской истории он приобрел особое значение – не только по причине своего незащищенного местоположения на географически крайнем Русском Севере, но и в силу плотной и весьма специфической вовлеченности в главные события русской истории. Пунктирный обзор нескольких этапов многовековой истории Соловков может это подтвердить.

Уже в XV в., вскоре после того как монахи Савватий и Герман (выходец из Карелии), покинув монастырь на острове Валаам в поисках еще более уединенного необитаемого острова в Белом море, положили начало новой пустыни, между молодым монастырем и Новгородом, бывшим наряду с Москвой одним из важных центров раздробленной Руси, возникли тесные отношения. Зосима, истинный основатель монастыря, вступил в конфликт с новгородскими боярами по поводу рыбного промысла, предпринятого им с группой монахов. В конце концов монахи отвоевали право рыбной ловли; но русская имперская историография XIX в. интерпретирует этот конфликт как одно из ключевых событий в борьбе за власть между Новгородом и Москвой, закончившейся падением Новгорода и возвышением Москвы. Карамзин и Костомаров приводят легенду о приписываемом Зосиме пророчестве, предрекшем гибель боярыни Марфы Борецкой (Посадницы) и падение Новгорода [1–3]¹.

Когда в XVI в., а точнее в 1547 г., игуменом Соловецкого монастыря под именем Филиппа стал московский боярский сын Федор Колычев, человек с высоко развитым интеллектом, монастырь пережил поразительный не только духовный, но и хозяйственный расцвет. Именно при нем были возведены его главные соборы, собрана богатая библиотека. Сооружение обширной сети каналов на большом острове и возведение перемычки между ним и ближним островом Муксальма способствовали расцвету систематического хозяйственного использования островных земель. На остров были завезены домашние животные и началось разведение рогатого скота. В течение менее чем

¹ Об истории монастыря см. также: [4].

20 лет монастырь превратился в процветающий центр древнерусской культуры [5, 6].

В XVI в. начинается многовековая история и другого рода тесных взаимоотношений Соловков и центра: в период игуменства Филиппа Иван Грозный сослал на Соловки одного из своих главных сторонников и крупнейших ученых того времени, автора знаменитой книги «Домострой» протопопа Сильвестра, который, таким образом, стал одним из первых обитателей соловецкой монастырской тюрьмы, бывшей на Руси одной из первых тюрем такого рода¹. Сильвестр, критически относившийся к политике Грозного, нашел в Филиппе своего союзника. Несмотря на критический настрой против Ивана Грозного, в 1566 г. Филипп принял его предложение занять должность митрополита Московского. Однако в 1568 г. царь, которому Филипп отказал в благословении, предал его опричнине, с которой Филипп пытался бороться, и таким образом митрополит стал одной из самых знаменитых жертв опричников.

Сооружение монастырской стены, достигающей в высоту 8–11 метров, а в толщину 4–6, из камней размером до 5 метров, осуществленное в 1584–1594 гг. в качестве необходимой меры защиты от бурных событий XVII в., превратило монастырь в настоящую военную крепость. Позже в толще крепостной стены были устроены тюремные камеры, но в 1667–1676 гг. именно эта стена позволила монастырю выдержать девятилетнюю осаду царских войск, посланных для подавления сопротивления Соловецкого монастыря церковной реформе Никона и уничтожения этого главного оплота староверов. Когда же сопротивление соловецких монахов было наконец сломлено, весь прежний «гарнизон» монастыря был расформирован, а монастырь заселен новыми монахами. Поражение Соловков в открытом конфликте с Москвой ознаменовало конец независимости Русской православной церкви [8].

В XVIII в. новая внешняя политика Петра I сделала Соловки важным геополитическим и стратегическим пунктом обороны России от северо-западных врагов, в особенности шведов; кроме того, острова стали важным опорным пунктом морской экспансии Российской империи в западном направлении. Ср. хронику истории монастыря в XVIII в., в середине которого (1765) статус Соловков был поднят до уровня «ставропигиального монастыря», т.е., монастыря, подчинен-

¹ Несколько десятилетий спустя была основана подобная тюрьма и в Суздале. О Сильвестре см.: [7].

ного непосредственно Патриархату, а не местному церковному управлению, – таких в России было очень немного [9].

Это новое стратегическое значение Соловков приобрело неожиданную актуальность в XIX в., когда во время Крымской войны английские военно-морские силы вышли на Соловки через Карское море: это наступление было отбито монахами [10, 11]. Благодаря эффективности военных действий по защите монастыря авторитет Соловков невероятно вырос – и именно в символическом отношении – не в последнюю очередь и потому, что это стало единственной победой России в Крымской войне, о которой сегодня напоминают два обелиска в маленькой гавани. Вторая половина XIX в. ознаменована расцветом паломничества и туризма, стимулом которых стали не только религиозные, но и патриотические чувства¹.

На рубеже XIX–XX вв. монастырь пережил второй хозяйственный, духовный и культурный расцвет после игуменства Филиппа. Для многочисленных крестьян, которые переселились на острова после отмены крепостного права в 1861 г., Соловки стали тем местом, где они смогли образовать добровольно сложившееся коллективное хозяйство, и этот стимул способствовал росту продуктивности аграрного производства. Для многочисленных же паломников (верующих), туристов и патриотов острова стали притягательной целью – и духовного возвышения, и просто отдыха. Об этом свидетельствуют многочисленные репортажи известных авторов эпохи: Сергея Максимова, Василия Немировича-Данченко и Михаила Пришвина, а также картины художника Михаила Нестерова [13–16], фотографии Сергея Прокудина-Горского и почтовые открытки Якова Лейцингера [17], рассылка которых способствовала популяризации Соловков по всей стране. Показателем этого расцвета было и окончательное упразднение монастырской тюрьмы в 1903 г.

В следующий раз связь Соловков с центром русской власти проявилась другим образом в начале 1920-х гг. – и тогда был положен внезапный конец процветанию островов, и новая советская система превратила острова в своего рода эмбриональную клетку того принципа насилия, на котором она была основана. С учреждением Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) Соловки стали опытной

¹ Ср. адресованную именно паломникам и туристам брошюру «Описание обороны Соловецкого монастыря», изданную в 1905 г. [12].

моделью системы ГУЛаг. Между 1923 и 1939 гг. в системе СЛОН числилось до 52 000 заключенных, которые принудительным способом были превращены в первых исполнителей грандиозного проекта индустриализации, модернизации и построения нового общества и в большинстве своем пали жертвами террора [18. С. 196–198]. Многочисленные высокоодаренные интеллектуалы из числа заключенных достигли отчасти обусловленных дисциплинарным режимом, но тем не менее выдающихся успехов в науке: краеведении, ихтиологии, изучении морской растительности (П. Флоренский) и истории русской иконописи (Анисимов и Лихачев) и мн. др. [19]. Многочисленные деятели искусства, оказавшиеся в ссылке на Соловках, осуществили в лагере ряд авангардистских начинаний: создание одного из последних авангардистских театров и ряд публикаций [20, 21], использованных в целях пропаганды Горьким, который посетил лагерь в 1929 г. (например, документальный фильм «Соловки», созданный в 1928 г.).

Как с очевидностью свидетельствует этот беглый обзор более чем 500-летней истории Соловков, между этим лиминальным топосом и центрами русской культуры и политической власти существовали непрерывные, хотя и очень разные по своей природе отношения. На основании этого факта представляется возможным обозначить семиотику духовного, культурного и политического потенциала Соловков как локального текста понятием «центр на краю». В качестве таковой Соловки по специфике своих исторически изменчивых отношений с реальным центром очень отличаются от других периферийных областей России, даже если эти последние, как, например, Сибирь, временами приобретали большое культурное или политическое значение. В течение столетий с Соловками были связаны судьбы ключевых фигур истории России. Начиная с XVI в. Соловки постоянно были оплотом отчуждения и инакомыслия. Временами острова становились средоточием ожесточенного противостояния политической власти центра, они постоянно были форпостом имперской экспансии и обороны, и далее – вновь экспериментальной моделью новой политической системы России.

Вопрос заключается в том, содержат ли литературно-публицистический соловецкий нарратив подтверждение этому тезису и если да, то какие именно разновидности литературно-символической концептуализации Соловков в этом нарративе можно найти?

II. Типология «Соловецкого текста» и исторические фазы его эволюции

Насколько мне видится в данный момент, как типы, так и исторические стадии формирования «Соловецкого текста» вполне очевидны.

1. **Колониальные тексты.** Первые жития и хроники XVI в. реализуют, как и следовало ожидать, стратегию освоения топоса посредством его христианизации и освящения в соответствующем нарративе символической и фактической колонизации и цивилизации. При этом доминирующая позиция принадлежит житиям основателей монастыря и игумена Филиппа¹.

Колониальный нарратив этой стадии впоследствии будет подхвачен историографией конца XIX в., описывающей историю монастыря в модернизированном ключе имперского историзма: монастырь как актер созидания империи (*empire-building*). Такова, например, точка зрения В. Ключевского [27], сосредоточившегося на колониальных стратегиях в описании истории возведения монастырского комплекса и хозяйственной деятельности монастыря, или Н. Костомарова, приводящего биографии Савватия и Зосимы в своей книге «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» (гл. 12) [3], где он описывает основание Соловецкого монастыря, несмотря на его крайнюю географическую отдаленность, не только как наиболее типичный случай учреждения монастыря в XIV–XV вв., но и как самый значимый прецедент для дальнейшей истории России².

¹ О ранней хронике см.: [22. С. 217–236; 23. С. 223–243; 24. С. 117–118; 25. С. 157–158; 26. С. 58].

² Далее Соловки упоминаются у Костомарова в гл. 18, посвященной биографии Сильвестра: «Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отведен туда на тяжелое заключение. Но положение его там не могло быть очень тяжелым: игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, как оказывается, сходящийся в убеждениях с Сильвестром». В главе 20, посвященной Ивану IV, изложена биография Филиппа Колычева. Повествуя об истории погубления Филиппа Иваном Грозным, Костомаров сообщает, что царь не без труда нашел в Соловках нескольких церковных иерархов, готовых предать Филиппа: «В Соловки отправился за этим суздальский епископ Пафнутий с архимандритом Феодосием и князем Темкиным. Соловецкие иноки сначала давали только хорошие отзывы о Филиппе. Но Пафнутий соблазнил игумена Паисия обещанием епископского сана, если он станет свидетелем против митрополита. К Паисию присоединилось несколько старцев, склоненных угрозами. Пафнутий привез их к царю. Собрали собор. Первенствовал на нем из духовных Пимен новгородский: из угождения царю он заявил себя врагом Филиппа, не подозревая, что через два года и его постигнет та же участь, какую теперь готовил митрополиту» [3].

2. Провинциальный текст, или текст внутренней колонизации. Второй этап эволюции «Соловецкого текста» наступает в конце XIX (после нападения англичан во время Крымской войны) – начале XX в., когда постепенно закрывались соловецкие тюрьмы, бывшие в течение столетий одним из главных мест политической ссылки и заключения (1903), когда монастырское хозяйство достигло невиданного дотоле расцвета, а монастырь переживал массовый наплыв паломников и туристов, в том числе приезжающих на Соловки многочисленных художников и писателей.

Одним из самых существенных стимулов подогревания интереса к Соловкам как цели паломничества-путешествия стали очерки Сергея Максимова [13] и Василия Немировича-Данченко [14]. Особенно весомую лепту в валоризацию мифосимволики Соловков внес очерк Максимова, напоминающий об успешной защите монастыря от англичан во время Крымской войны.

В русле этой же традиции реалистического очерка написан и первый травелог Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц» (1906), одна из глав которого посвящена Соловкам. Реалистическая манера предшественников получает у Пришвина свое продолжение и развитие в описаниях соловецкого житья-бытья, не чуждающихся упоминаний о недостатках, неприятностях и даже уродстве:

Дорогой друг! Я кончил свои письма. Пароход сейчас увезет меня с Соловецких островов, и через неделю я попаду в Лапландию, к кочующему народу.

Вы знаете меня, Вы не поймете мои письма как собрание анекдотов о монахах. Напротив, я все это Вам писал не для того, чтобы глумиться. Соловки, действительно, Святая земля... но... но... я верю в это лишь в то время, когда кормлю с богомольцами чаек. А как только прихожу в монастырскую келью и особенно в свой отдельный номерок, то сейчас же все исчезает. Хочу писать о чем-то высоком, а выходят анекдоты...

Нельзя ли их прочесть как-нибудь с другого конца... Попробуйте [15. С. 250].

Тексты этой эпохи конституируют путевой нарратив, рисующий Соловки, с одной стороны, как святое место, а с другой – как типичную глухую провинцию со всеми ее странностями, убожеством и даже дикостью, порожденной удалением от очагов цивилизации; во всяком случае, этот топос не нуждается в новой колонизации и не находится где-нибудь в чужих краях или вообще в потустороннем мире.

3. Советская эпоха 1930-х и следующих годов (это гипотетическое утверждение нуждается в дальнейших изысканиях) создала, как мне представляется, «Соловецкий текст» как своего рода **метонимию-синекдоху**, причем сразу в двух вариантах: как у идеологов советской системы, прежде всего у М. Горького («По союзу советов», а также в пропагандистском фильме «Соловки» – и то и другое в 1927 г.), так и в воспоминаниях сидельцев СЛОН (частично изданных уже в 1930-х гг.) лагерь представлен как модель общества в целом и, таким образом, выступает в качестве *pars pro toto* всего Советского Союза. (Поскольку свидетельства очевидцев очень многочисленны и кроме того, подлежат сравнению с воспоминаниями узников других отделений ГУЛага по всей стране, это положение следует квалифицировать как в высшей степени предварительное.)

Подобного рода свидетельства – это прежде всего:

- **Владимир Чернавин.** Записки вредителя (первоначально по-английски: *I speak for the silent. Prisoners of the Soviets*, 1935 [28]).

- **Сурен Ованесович Газарян.** Это не должно повториться, 1988 [29] (воспоминания написаны намного раньше, в 1964 г. впервые стали доступны читателю; в 1967 г. благодаря положительному отзыву Твардовского текст Газаряна был отмечен и как художественное произведение: жанровый подзаголовок записок Газаряна – «документальная повесть»).

- **Михаил Розанов.** Советский концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты – домыслы – «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. 1979 [30]. Опубликовано под впечатлением от «Архипелага ГУЛаг» Солженицына, которого Розанов до некоторой степени критикует по поводу информации о Соловках, содержащейся в книге Солженицына, знавшего о Соловках только понаслышке. Повидимому, книга Солженицына стала для Розанова стимулом к публикации собственных воспоминаний.

- **Дмитрий Сергеевич Лихачев.** Воспоминания. После того как Лихачев подробно рассказал о своем пребывании в Соловецком лагере в первом документальном фильме Марины Голдовской о СЛОН «Власть соловецкая», в 1997 г. появились в печати его воспоминания [20].

«Архипелаг ГУЛаг» Солженицына, символически концептуализирующего Соловки одновременно в системе островной и медицински-раковой метафористики, может быть интерпретирован как исторический финал этой разновидности «Соловецкого текста» и парадигматический антоним тексту Горького.

4. В то же время «Архипелаг ГУЛаг» является исходным интертекстуальным пунктом для возникающей позже, в позднесоветскую и постсоветскую эпоху, последней разновидности «Соловецкого текста», которую можно назвать **опытом национально-исторической типизации**. Это определение подразумевает взгляд на историю Соловков как на этапы формирования самоидентичного топоса, обладающего огромным символическим потенциалом в отношении ко всей России. Монастырская история и история лагеря более не воспринимаются как антитезы: они выступают как некая непрерывность, вариативный повтор одних и тех же констелляций, обладающих одним и тем же символическим значением.

Любопытно, что эта национально-историческая концептуализация происходила и происходит параллельно и отчасти даже в конкуренции с продвижением Соловков в международный список мирового культурного наследия ЮНЕСКО (1992).

Любопытно также, что четыре текста, на которых я хочу остановиться подробнее, «Поездка на острова» Юрия Нагибина (1986), «Соловецкие парадоксы» Юрия Бродского (1998), «Обитель» Захара Прилепина (2014) и «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016) особенно очевидно наследуют концепцию Солженицына в одном пункте, а именно в антропологизации кода описания: первым следствием этого становится мощная тенденция к обобщению, которая, однако, у каждого из трех следующих за Солженицыным авторов обретает один и тот же национально-исторический поворот.

Бросим беглый взгляд на точку отсчета: текст Солженицына радикально обращает в негатив столь же радикальный идеал советского человека как героя – кузнеца ключей счастья, главной задачей которого является покорение природы. Начало посвященной Соловкам третьей части «Архипелага ГУЛаг» описывает острова до прихода человека как райский уголок – поскольку везде, где возникает и развивается общество, главную роль начинают играть война и тюрьма. Мысль писателя поясняет цитата, введенная в открытый текст его повествования и становящаяся исходным пунктом новой концепции Соловков:

«В этой светлости как бы нет греха... Эта природа как бы еще не доразвилась до греха» – так ощутил Соловецкие острова Пришвин.

Без нас поднялись эти острова из моря, без нас налились двумястами рыбными озерами, без нас заселились глухарями, зайцами, оленями, а лисиц, волков и другого хищного зверя не было тут никогда. <...>

<...> никакое народное развитие еще никогда не шло, не идет и будет ли когда-либо идти? – без сопутствования мыслью военной и мыслью тюремной [31].

И далее автор иронически замечает:

Мысль военная. Нельзя же каким-то безрассудным монахам просто жить на просто острове. Остров – на границе Великой Империи и, стало быть, надо воевать ему со шведами, с датчанами, с англичанами, и, стало быть, надо строить крепость со стенами восьмиметровой толщины и воздвигнуть восемь башен, и бойницы проделать узкие, а с колокольни соборной обеспечить наблюдательный обзор.

Мысль тюремная. Как же это славно – на отдельном острове да стоят добрые каменные стены! Есть куда посадить важных преступников и охрану с кого спросить есть. Душу спасать мы им не мешаем, а узников нам постереги [31].

В изображении Солженицына человек предстает ошибкой природы, а человеческие деяния – принципиальной патологией. Соответственно, он описывает ГУЛаг как раковую опухоль, в которой Соловки являются центральным очагом поражения, откуда раковые метастазы распространяются на весь Советский Союз. С самого начала «Архипелага ГУЛаг» через весь текст книги Солженицын проводит этот тезис – человек как болезнь природы – в разветвленной системе метафор, которая замещает, с одной стороны, советскую технологическую метафористику, служившую образным средством воссоздания картины современности, особенно в описании мегапроектов в диапазоне от индустриальных гигантов до гигантской сети ГУЛаг, а с другой стороны, использует доминировавшую в 1930-е гг. органическую метафористику описания перверсии системы:

Архипелаг, родившийся и созревший на Соловках, начал свое злокачественное движение по стране. <...> А за радостным гулом шла бесшумная работа отправки этапов: из материнской соловецкой опухоли слали Пятьдесят Восьмую в далекие гиблые места открывать новые лагеря. <...> Архипелаг дает метастазы [31].

Перевод О.Б. Лебедевой

(Томский государственный университет)

Литература

1. *Карамзин Н.М.* История государства Российского: в 4 кн. / Репринт. воспр. изд. 1842–1844 гг., выпущ. в 3 кн. с прил. «Ключа» П.М. Строева. М.: Книга, 1989. Кн. 2, т. 6. 227 с. (Гл. 1). URL: http://rvb.ru/18vek/karamzin/4igr/toc_igr_kn2.htm
2. *Иконников В.* Борецкая, Марфа Ивановна // Русский биографический словарь: в 25 т. СПб., 1908. Т. 3. С. 214–221.
3. *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1874. Вып. 2. 279 с. (Гл. 13). URL: <http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostlec.htm>
4. *Савич А.А.* Соловецкая вотчина XV–XVII вв.: опыт изучения хозяйства и социальных отношений на крайнем Русском Севере в древней Руси. Пермь: Изд-во Пермпромкомбината, 1927. 288 с.
5. *Федотов Г.* Святой Филипп, митрополит Московский. Париж: Ymca-Press, 1928. 224 с.
6. *Колобков В.А.* Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричина Ивана Грозного. СПб.: Алетей, 2004. 639 с.
7. *Курукин И.В.* Жизнь и труды Сильвестра, наставника Ивана Грозного. М.: Квадрига, 2015. 192 с.
8. *Чумичева О.В.* Соловецкое восстание 1667–1676 годов. М.: ОГИ, 2009. 352 с.
9. История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря / коммент. Г.М. Зеленской, послесл. А.В. Лаушкина, В.П. Столярова. 4-е репр. изд. Пос. Соловецкий, Архангельская область: Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, 2010. 360 с.
10. *Мельникова Л.В.* Оборона Соловецкого монастыря в годы Крымской войны: Военный и религиозный аспекты // Российская история. 2005. № 5. С. 165–182.
11. *Lambert Andrew D.* The Royal Navy's White Sea campaign of 1854 // *Naval Power and Expeditionary Wars: Peripheral Campaigns and New Theatres of Naval Warfare*. London, New York: Routledge, 2011. P. 29–44.
12. *Описание обороны Соловецкого монастыря 1854 г.* Архангельск, 1905. 44 с.
13. *Максимов С.В.* Год на Севере. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. 605 с. (Гл. 5. Поездка в Соловецкий монастырь).
14. *Немирович-Данченко В.И.* На кладбищах: Воспоминания и впечатления / сост., примеч. Т.Ф. Прокопова; вступ. ст. В.Н. Хмары. М.: Русская книга, 2001. 542 с. («Соловки. Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами»).
15. *Пришвин М.П.* Соловецкий монастырь: (Письма к другу) // Собр. соч.: в 8 т. М., 1982. Т. 1. С. 233–250.
16. *Нестеров М.В.* О пережитом. 1862–1912 гг.: Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2006. 587 с. («На Соловках»).
17. *Lejtinger J.* Postkartensammlung des Solovecker Klosters. URL: <http://acmus.ru/collection/otkritki/index.php?page=4>
18. *Сошина А.А.* На Соловках против воли. Судьбы и сроки. 1923–1939. Соловки; Москва: Изд-во TCM, 2014. 231 с.
19. *Бродский Ю.А.* Соловки. Двадцать лет особого назначения. М.: РОССПЭН, 2002. 527 с.
20. *Лихачев Д.С.* Избранное. Воспоминания. СПб.: Logos, 1997. 559 с.
21. *Соловецкий театр (СОЛТЕАТР)* – главное показушное заведение СЛОНа. URL: http://www.solovki.ca/camp_20/theater.php

22. Тихомиров М.Н. Малоизвестные летописные памятники // Исторический архив. М., 1951. Т. 7. С. 217–236.
23. Корецкий В.И. Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980 г. В.Н. Татищев и изучение русского летописания. М., 1981. С. 223–243.
24. Тихомиров М.Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 184 с.
25. Кукушкина М.В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории книжной культуры XVI–XVII вв. Л.: Наука, 1977. 223 с.
26. Буров В.А., Скопин В.В. О времени строительства крепости Соловецкого монастыря и ее зодчем монахе Тихоне // Памятники русской архитектуры и монументального искусства: Города. Ансамбли. Зодчие. М., 1985. С. 58–70.
27. Ключевский В. Хозяйственная деятельность Соловецкого монастыря в Беломорском крае. М., 1867. 37 с.
28. Tchernavin V. I speak for the silent: Prisoners of the Soviets. Norwood, Mass.: Plimpton Press, 1935. 390 p.
29. Газарян С.О. Это не должно повториться // Литературная Армения. 1988. № 6. С. 2–53. № 8. С. 2–49. № 9. С. 2–41. URL: <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11565>
30. Розанов М. Советский концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты – домыслы – «параша»: Обзор воспоминаний соловчан соловчанами: в 2 кн., 8 ч. Кн. 1. 293 с. URL: <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1118>
31. Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. Ч. 3, гл. 2. Архипелаг возникает из моря. URL: <http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag2.txt>

THE SOLOVKI TEXT. PART 1

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 166–180. DOI: 10.17223/24099554/7/10

Susanne K. Frank, Humboldt University of Berlin (Berlin, Germany). E-mail: susanne.frank@staff.hu-berlin.de

Keywords: Solovki, Solovetsky monastery, Solovetsky Special Purpose Camp (SSPC), “Solovki text”, symbolic continuity, evolution of local text.

This paper is an attempt to describe the “Solovki text” of Russian literature. Its first part raises the question of the symbolic continuity of the topos with a changing historical destiny and, accordingly, with a radical semantic conversion from the monastery to the Gulag. It also focuses on systematising the material and reviewing its evolution from ancient history to the middle of the 20th century. The liminal topos of the Solovetsky Islands and the centers of Russian culture and political power had continuous, though various relations. Basing on this, it is possible to designate the semiotics of the spiritual, cultural and political potential of Solovki as a local text as “the centre on the edge.” The fates of key figures in Russian history were connected with the Solovki for centuries. Since the sixteenth century, Solovki have always been a stronghold of alienation and dissent. At times, the islands were the focus of a fierce confrontation with the central political power. They always were the outpost of imperial expansion and defense, and later an experimental model of Russia’s new political system. The following evolution stages can be singled in the “Solovki text”:

1. Colonial texts. The first hagiographies and chronicles of the 16th century realise the strategy of the topos development through its Christianisation and sanctification in the corresponding narrative of symbolic and actual colonisation and civilisation.

2. Provincial text, or the text of internal colonization. The second stage of the Solovky text evolution occurs in the late 19th century (after the British attack during the Crimean War) and in the early 20th century, with the gradual closing of the Solovki prisons, which used to be main places of political exile and imprisonment (1903) for centuries. It was also the time when the monastic economy flourished, and the monastery experienced a massive influx of pilgrims and tourists, including numerous artists and writers (S. Maksimov, V. Nemirovich-Danchenko, M. Prishvin).

3. The Soviet era created the “Solovki text” as a kind of metonymy, or synecdoche, in two versions simultaneously: both in the works of Soviet ideologists, primarily M. Gorky (“In the Soviet Union” and in the propaganda film “Solovki” (both in 1927)), and in the memoirs of the Solovki Prison Camp inmates, the camp was presented as a model of society as a whole, thus acting as a *pars pro toto* of the entire Soviet Union.

4. “The Gulag Archipelago” is the starting intertextual point for the later Soviet and Post-Soviet version of the Solovky text, which can be called the experience of national historical typification. This definition implies a view of the Solovki history as the stages of the formation of a self-identical topos with a huge symbolic potential for all Russia.

References

1. Karamzin, N.M. (1989) *Istoriya gosudarstva Rossiyskogo: v 4 kn.* [History of the Russian State: In 4 books]. Book 2(6). Moscow: Kniga. [Online] Available from: http://rvb.ru/18vek/karamzin/4igr/toc_igr_kn2.htm.
2. Ikonnikov, V. (1908) Boretskaya, Marfa Ivanovna [Marfa Boretskaya]. In: Polovtsov, A.A. (ed.) *Russkiy biograficheskiy slovar'*: v 25 t. [Russian Biographical Dictionary]. Vol. 3. St. Petersburg: Tip. Glavnogo Upravleniya Udelov. pp. 214–221.
3. Kostomarov, N.I. (1874) *Russkaya istoriya v zhizneopisaniyakh ee glavneyshikh deyateley* [Russian history in the biographies of its most important figures]. St. Petersburg: M.M. Stasyulevich. [Online] Available from: <http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kostom/kostlec.htm>.
4. Savich, A.A. (1927) *Solovetskaya votchina XV–XVII vv.: opyt izucheniya khozyaystva i sotsial'nykh otnosheniy na kraynem Russkom Severe v drevney Rusi* [Solovetsky patrimony of the 15th–17th centuries: The experience of studying the economy and social relations in the extreme Russian North in ancient Russia]. Perm: Permpromkombinat.
5. Fedotov, G. (1928) *Svyatoy Filipp, mitropolit Moskovskiy* [Saint Philip, Metropolitan of Moscow]. Paris: Ymca-Press.
6. Kolobkov, V.A. (2004) *Mitropolit Filipp i stanovlenie moskovskogo samodержaviya. Oprichnina Ivana Groznogo* [Metropolitan Philip and the formation of the Moscow autocracy. Oprichnina of Ivan the Terrible]. St. Petersburg: Aleteyya.
7. Kurukin, I.V. (2015) *Zhizn' i trudy Sil'vestra, nastavnika Ivana Groznogo* [The Life and Work of Sylvester, the tutor of Ivan the Terrible]. Moscow: Kvadriga.
8. Chumicheva, O.V. (2009) *Solovetskoe vosstanie 1667–1676 godov* [The Solovetsky uprising of 1667–1676]. Moscow: OGI.
9. Ioannicius Archimandrite. (2010) *Istoriya pervoklassnogo stavropigial'nogo Solovetskogo monastyrya* [The history of the first-class stauropegic Solovki monastery]. 4th ed. Solovetskiy, Arkhangelskaya Oblast: Spaso-Preobrazhensky Solovetsky Stauropegial Monastyr.
10. Melnikova, L.V. (2005) *Oborona Solovetskogo monastyrya v gody Krymskoy voyny: Voennyy i religioznyy aspekt* [Defense of the Solovetsky Monastery during the Crimean War: Military and Religious Aspects]. *Rossiyskaya istoriya*. 5. pp. 165–182.

11. Lambert, A.D. (2011) The Royal Navy's White Sea campaign of 1854. In: Elleman, B.E. & Paine, S.C.M. (eds) *Naval Power and Expeditionary Wars: Peripheral Campaigns and New Theatres of Naval Warfare*. London, New York: Routledge. pp. 29–44.
12. Anon. (1905) *Opisanie oborony Solovetskogo monastyrya 1854 g.* [The defense of the Solovetsky Monastery in 1854]. Arkhangelsk: S.M. Pavlov.
13. Maksimov, S.V. (1984) *God na Severe* [A Year in the North]. Arkhangelsk: Sev.-Zap. kn. izd-vo.
14. Nemirovich-Danchenko, V.I. (2001) *Na kladbishchakh. Vospominaniya i vpechatleniya* [In the cemeteries. Memories and impressions]. Moscow: Russkaya kniga.
15. Prishvin, M.P. (1982) *Sobranie sochineniy: V 8 t.* [Collected Works. In 8 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 233–250.
16. Nesterov, M.V. (2006) *O perezhitom. 1862–1912 gg. Vospominaniya* [On the by-gones. 1862–1912]. Moscow: Molodaya gvardiya.
17. Leizinger, J. (n.d.) *Postkartensammlung des Solovecker Klosters* [Postcard collection of the Solovecker monastery]. [Online] Available from: <http://acmus.ru/collection/otkritki/index.php?page=4>.
18. Soshina, A.A. (2014) *Na Solovkakh protiv voli. Sud'by i sroki. 1923–1939* [On Solovki against the will. Fates and time. 1923–1939]. Solovki; Moscow: TSM.
19. Brodsky, Yu.A. (2002) *Solovki. Dvadsat' let osobogo naznacheniya* [Solovki. Twenty years of special purpose]. Moscow: ROSSPEN.
20. Likhachev, D.S. (1997) *Izbrannoe. Vospominaniya* [Selected works. Memories]. St. Petersburg: Logos.
21. The Solovki Encyclopedia. (n.d.) *Solovetskiy teatr (SOLTEATR) – glavnoe pokazushnoe zavedenie SLONa* [The Solovki Theater (SOLTEATR) – the main showpiece institution of the Solovki Prison Camp]. [Online] Available from: http://www.solovki.ca/camp_20/theater.php.
22. Tikhomirov, M.N. (1951) *Maloizvestnye letopisnye pamyatniki* [Unknown Chronicles]. *Istoricheskii arkhiv*. 7. pp. 217–236.
23. Koretsky, V.I. (1981) *Solovetskiy letopisets kontsa XVI v.* [Solovetsky chronicle of the end of the 16th century]. In: Rybakov, B.A. (ed.) *Letopisi i khroniki. 1980 g. V.N. Tatishchev i izuchenie russkogo letopisaniya* [Annals and Chronicles. 1980. V.N. Tatishchev and the study of Russian chronicle]. Moscow: Nauka. pp. 223–243.
24. Tikhomirov, M.N. (1962) *Kratkie zametki o letopisnykh proizvedeniyakh v rukopisnykh sobraniyakh Moskvy* [Brief notes on annals the manuscript collections in Moscow]. Moscow: USSR AS.
25. Kukushkina, M.V. (1997) *Monastyrskie biblioteki Russkogo Severa: Ocherki po istorii knizhnoy kul'tury XVI–XVII vv.* [Monastic libraries of the Russian North: Essays on the history of book culture of the 16th–17th centuries]. Leningrad: Nauka.
26. Burov, V.A. & Skopin, V.V. (1985) *O vremeni stroitel'stva kreposti Solovetskogo monastyrya i ee zodchem monakhe Tikhone* [On the time of building the Solovetsky monastery fortress and its architect monk Tikhone]. In: Vlasyuk, A.P. & Vygodov, V.P. (eds) *Pamyatniki russkoy arkhitektury i monumental'nogo iskusstva: Goroda. Ansambli. Zodchie* [Monuments of Russian architecture and monumental art: Cities. Ensembles. Architects]. Moscow: Nauka. pp. 58–70.
27. Klyuchevsky, V. (1867) *Khozyaystvennaya deyatel'nost' Solovetskogo monastyrya v Belomorskom krae* [Economic activities of the Solovetsky Monastery in the White Sea Territory]. Moscow: V Universitetskoy tipografii (Katkov i K°).
28. Tchernavin, V. (1935) *I speak for the silent: Prisoners of the Soviets*. Norwood, Mass.: Plimpton Press.

29. Gazaryan, S.O. (1988) Eto ne dolzhno povtorit'sya [This should not happen again]. *Literaturnaya Armeniya*. 6. pp. 2–53. [Online] Available from: <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=11565>.

30. Rozanov, M. (1979) *Sovetskiy kontslager' v monastyre. 1922–1939. Fakty – domysly – “parashi”*. *Obzor vospominaniy solovchan solovchanami* [The Soviet concentration camp in the monastery. 1922–1939. Facts – speculation – gash-buckets. A review of memories of Solovki residents written by Solovki residents]. Book 1. [Online] Available from: <http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1118>.

31. Solzhenitsyn, A.I. (n.d.) *Arhipelag Gulag* [The Gulag Archipelago]. [Online] Available from: <http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/gulag2.txt>.

В.В. Мароши

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИМПЕРСКИХ ПРОЕКТАХ: ФАНТАСТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, ФОЛК-ХИСТОРИ

В статье рассматриваются различные варианты диалога и полемики с историческими концепциями евразийцев и неоевразийцев в современной отечественной литературе и публицистике. Анализируются лирика и поэмы В. Березева, романы В. Рыбакова и И. Алимова, П. Крусанова и С. Волкова, повесть В. Отрошенко, историческая публицистика Г. Носовского и А. Фоменко, А. Бушкова. Отношение к Великой монгольской империи варьируется в диапазоне от преемственности до полного отрицания самой исторической и географической реальности ее существования. Могущественным соперником этой империи в возможности влияния на альтернативное прошлое или будущее России в художественной литературе становится Китай.

Ключевые слова: Евразия, империя, русская, монгольская, альтернатива, современная, литература.

В 1920-х гг. русскими эмигрантами-«евразийцами» (Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким, Г.В. Вернадским, Э. Хара-Даваном) была выдвинута гипотеза о преемственности Российской империи по отношению к географическому пространству, государственному и юридическому устройству Великой Монгольской империи (монг. Их монгол улс, Еке монгол улус). Так, Н.С. Трубецкой в «Наследии Чингис-хана» (1926) видит в монгольском завоевателе скорее объединителя евразийского континента: «Евразия представляет собой некую географически, этнологически и экономически цельную, единую систему, государственное объединение которой было исторически необходимо. Чингисхан впервые осуществил это объединение, и после него сознание необходимости такого единства проникло во все части Евразии, хотя не всегда было одинаково ясным. С течением времени единство это стало нарушаться. Русское государство инстинктивно стремилось и стремится воссоздать это нарушенное единство и потому является наследником, преемником, продолжателем исторического дела Чингисхана» [1. С. 182]. История классического эмигрантского евразийства, как известно, закончилась в 1930-х гг.

В советской историографии и историческом романе преобладала традиционная для дореволюционной России «антимонгольская» (татаро-монгольское иго) и «античингисхановская» тенденция, наиболее сильно выразившаяся в знаменитой трилогии «Нашествие монголов» (1939–1955) В. Яна. Тема становления новой империи для В. Янчевецкого была глубоко личной, если доверять рассказу самого писателя о «видении» ему жестокого завоевателя во время путешествия в иранской пустыне. Однако в первом романе трилогии «Чингисхан» (1939) по крайней мере намечена его возможная роль как объединителя: «У урусов много ханов; называются они по-ихнему «коназ». И все эти ханы – «конази» – между собой грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал этих «коназей» в один колчан, и нет у них своего Чингисхана» [2. С. 151].

Следующим большим этапом в эволюции этого течения было евразийство Л.Н. Гумилева, которое, в отличие от эмигрантов, представляло собой научно-исследовательскую концепцию без выхода в политику. По Гумилеву, средневековая Москва преодолела междоусобицу Киевской Руси, поэтому в конце XIV – начале XV в. возник новый российский (или «евразийский») суперэтнос на основе слияния славян, татар, литовцев и финно-угорских народов. Инициатором этого исторического импульса стал Александр Невский, который уже тогда предпочел союз с ордой, сохранив тем самым духовную самобытность своего народа. Гумилев выдвинул ничем не подтверждаемую гипотезу о братании Александра со старшим сыном Батыя Сартаком: «В 1252 г. Александр приехал в Орду Батыя, подружился, а потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал приемным сыном хана. Союз Орды и Руси осуществился благодаря патриотизму и самоотверженности князя Александра» [3]. Забегая вперед, заметим, что в современной российской фантастике именно это историческое событие становится отправной точкой сюжета «исторической альтернативы» в виде создания нового евразийского государства Ордусь в цикле романов В. Рыбакова и И. Алимова «Евразийская симфония».

С начала 1990-х гг. начинается третья стадия в эволюции евразийства – неоевразийство, которое оформилось в ряд полемизирующих друг с другом течений и даже вновь стало претендовать на место в политическом поле. Наиболее ярко в плане не научной аргументации, а скорее поэтической риторики оно проявило себя

в публицистике А. Дугина. В ситуации тотального кризиса и распада советского общества и государства он попытался придать понятию Евразии более широкий геополитический смысл: для него это будущий поликонфессиональный и полиэтнический континентальный союз народов и стран, империя, равной которой история не знала.

Чингисхан в евразийских манифестах Дугина предстает носителем не только объединяющего пространственного вектора и пассионарного порыва, но и вселенского тенгрианского начала Неба:

В отличие от всех остальных частей империи Темучина только северный сектор Кипчакского царства сохранил и развил изначальный импульс. И встал Третий Рим, Русь Монгольская, несущая народам и царствам “Белый Завет”, новую этику, новую весть, новый порядок. <...> И само Московское Царство, и Романовская Империя и даже Советский Союз демонстрируют нам разнообразные версии Руси Монгольской, чингисхановской, развитие, расширение и укрепление единой монголосферы, явственно проступающей сквозь внешние оболочки и разнообразные идеологические самоидентификации. Подчас отступая временно, на каждом новом витке геополитическая миссия Москвы становилась все более масштабной и вселенской. Наблюдение за историей евразийских пространств показывает нам следующую закономерность — после великого начала Чингис-хана все евразийское пространство, вся монголосфера, давно превзошедшая монголов как этнос, обязательно стремится к интеграции, к единству, к новой консолидации и возрождению. Эстафета переходит от одних секторов континентального пространства к другим, оформляется разнообразными мировоззренческими доктринами, но процесс никогда не затухает окончательно. Высокое Синее Небо продолжает упорно делать свое дело, внушая сынам земли отважные и дерзкие замыслы, будоража их древнюю кровь, подвигая на новые свершения и победы.

Сегодня в истории Евразии драматический период. Распад СССР, роспуск Варшавского Договора напоминает события XIV в. Также разлагалась и монгольская империя. Но ведь позже, так или иначе, вновь и вновь давали о себе знать подземные ручьи большой воли, неустрашимый, неумолчный шепот Белого Завета. Нет сомнений, что точно так же случится и на этот раз. <...> Никто не свободен от прошлого, от завета, от того, что сделало нас такими, какие мы есть, — скуластыми, безумными, непокорными, бескрайними, опьяненными волей и судьбой, миром и небом над ним, жестокими и нежными, русскими, вселенски, бесконечно, абсолютно русскими,

палящими нашей тенью, нашим вкусом, нашим Достоевским надломом пресные народы мира, пока еще ускользнувшие от нашей неминуемой, никогда не отклоняющейся от предначертанной судьбой траектории, свинцовой длани [4].

Итак, отдаленное прошлое с поправкой на духовный опыт русской литературы становится у Дугина основой неоевразийского проекта будущего.

Наиболее оперативно ответила на вызовы нового витка истории лирика, точнее лироэпика. Так, в стихотворении сибирского поэта-евразийца В. Берязева «Плеть» (2011) ожидание возвращения Власти после «опыта свобод» в «улусе Джучи», западной части Великой Монгольской империи, выражено в молчании и жесте скручивании бича-камчи жителем евразийской степи:

Молчи, сплечай хвосты камчи
Жгутом тяжёлым, сыромятным,
Безмолвьем, только миру внятным,
Боль пустоты перекричи.

Молчи, ещё в густой ночи
Не смолкли бляенье и топот,
Ещё не завершился опыт
Свобод в империи Джучи.

Молчи. И вновь во тьме сучи
Кошму разодранных столетий,
Вплечай свинчатку в тело плети
И угли шевели в печи.

Молчи, молчи, пока лучи
Сумеют степь дугою выгнуть,
Чтоб тень свою тебе настигнуть
Убойным посвистом камчи [5].

В нескольких лирических историософских поэмах-ораториях начала 1990-х гг. («Знамя Чингиса», «Мать Чингиса») Берязев изобразил гибель и неизбежное возвращение империи Чингисхана, чтобы остановить распад власти и торжество несправедливости:

Гляди же, гляди, Тэмуджин, на страну,
Объятую распреею древней,
Они заслужили большую войну –

Султаны, цари и царевны,
Эмиры, визиры, вожди и паши,
Князья, короли, хорезмшахи,
В них черные пропасти вместо души
И панцири вместо рубах [6. С. 53]

Однажды, однажды промчится герой
Меж сопok окрестных,
Омоет останки водою живой...
И войско воскреснет! [6. С. 65].

Возрождение Российской империи в этих поэмах – это нравственный, духовный императив таких категорий, как правда, честь, Держава, Небо, сердце и самопожертвование:

И если родится двуглавый орел
Под ратные громы,
Он сможет взлететь на небесный престол,
Лишь сердцем влекомый [6. С. 71].

Пусть новый Закон народится на свет:
Честь –
Хан –
и Держава!.. [6. С. 72].

Что если нам светлые дни суждены,
Где доблесть и вера
Рождают сиянье Державы святой... [6. С. 74].

Пусть с небом все соединятся
В один необъятный Улус,
Чтоб жить ради Правды стараться,
И Правда скрепит их союз!
Пусть станет над ханством великим
Великой души господин.
Орды племена стоязники
Лихих пусть не знают годин [6. С. 75].

Веселые силы,
Могучая власть,
Далекие клики!..
Да здравствует право сгореть и пропасть
За образ великий! [6. С. 74].

Лирические фрагменты поэмы «Знамя Чингиса» включают и молитву Чингисхану как «создателю» пространства России:

Хан мой, создатель простора российского,
Божия твердь!
От солнцевосхода до берега Понтийского
Душу отверзь!
Хан мой, крещенный сиротскою волею,
С ликом огня!
Хан мой, Чингис, из пучины бездолия
Вырви меня! [6. С. 50–51].

В обобщающей статье писателя-фантаста и историка Д. Володина была проанализирована достаточно подробно проблема «возвращения империи» в российскую фантастику в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Как считает автор, разные варианты имперского будущего России, которые выдвинула литература, были обусловлены критическим состоянием российского социума и государства: «Империя в конце 90-х приняла роль суперавторитета, обещающего спасение» [7].

«Спасение» от настоящего пришло из исторического прошлого, точнее, от одной из его бифуркационных развилок. В цикле повестей В. Рыбакова и И. Алимова «Евразийская симфония» (2000–2005), соединяющих в себе жанр «исторической альтернативы» с детективом и боевиком, Русь, Монголия и Китай в XIII в. образуют единое государство Ордусь. Авторы создали оригинальную модель Евразийской империи, в основу устройства которой положены конфуцианские принципы, религиозный синкретизм и державный «интернационализм». События повестей разворачиваются в вымышленной стране Ордусь, возникшей после объединения Руси и Орды, когда Александр Невский и хан Сартак заключили договор о дружбе. Легенда о «побратимстве» А. Невского и Сартака, как уже указывалось выше, восходит к исторической легенде, придуманной Л.Н. Гумилевым, который, в свою очередь, воспользовался фантазией забытого советского писателя А.К. Югова в его историческом романе «Ратоборцы» (1954).

В побратавшихся странах, к которым вскоре присоединился и Китай, одной из главных святынь становится Яса Чингисхана:

<...> оставленная в ризнице на вечное хранение святым и благоверным князем Александром Невским драгоценная, усыпанная яхонта-

ми и лалами, в серебряном окладе Великая Яса Чингизова. Она была подарена князю побратимом и соправителем его, присноблаженным ханом Сартаком, в честь договора о равноправном объединении Орды и Руси в Ордо-Русь. Александр тогда ответил Сартаку аналогичным по ценности и значимости подарком – ювелирным изданием «Русской правды» <...>. Так владыки обменялись главными юридическими документами, порожденными на тот момент их народами, – русские мастера в течение нескольких лет любовно создавали для татаро-монгольских братьев «Русскую правду», а монгольские, в свою очередь, с тою же тщательностью сотворили для русичей Ясу. Обмен этими документами при провозглашении объединения символизировал, что Ордо-Русь, которую вскоре никто уже и не именовал иначе, как просто Ордусью, создается не для каких-то временных, прагматических или просто военных нужд, но – как страна для спокойной и праведной жизни людей, как правовое государство, в котором будет править единственно диктатура закона [8. С. 87].

Другие потомки Чингисхана, которые, собственно, и создали Великую Монгольскую империю в ее максимальных размерах, изгнаны из Китая, как это и было в конце династии Юань: «...достославный Чжу Юань-чжан, первый император вдумчиво и проникновенно царствующей доселе династии Мин, на счастье всей нынешней Ордуси изгнал из Цветущей Средины потомков Хубилая со всем их воинством» [8. С. 92].

У Ордуси три столицы: Ханбалык (Пекин) на востоке, Каракорум в центре и Александрия Невская (Санкт-Петербург) на северо-западе. Ордусь состоит из собственно китайских территорий, неофициально называвшихся Цветущей Срединой (Чжунхуа), а также Внешней Ордуси, поделенной на семь «улусов», как в Монгольской империи. Несмотря на использование имен и названий с «монгольской» окраской (например, имя сыщика Багатура Лобо (древнемонгольское «богатырь». – В.М.), ноутбук «Керулен» (река в Монголии. – В.М.) в хронотопе, предметном мире, персонажной системе, наконец, в языке повествования повестей абсолютно доминируют китайская и русские составляющие. Это вполне объяснимо с точки зрения реального авторства: оба автора – профессиональные синологи, никак не связанные с монголоведением. Поэтому евроазиатская Империя у них получилась с сильным китайским уклоном, что, разумеется, обусловлено и объективно-историческим доминированием Китая в современном мире. В своей синофилии они отнюдь не одиноки: с конца 1990-х – в начале 2000-х гг. в футурологических произведениях

русской литературы все чаще изображается поглощение восточной части России или всего мира разрастающимся Китаем (см., например, в «Голубом сале», «Дне опричника» В.Г. Сорокина).

В конце благополучных 2000-х гг. сюжет о возвращении Чингисхана или его Монгольской империи в отечественной фантастике совсем не вызывает энтузиазма у авторов. Так, в рамках издательского межавторского проекта «Этногенез», скрепленного теорией этноса Л.Н. Гумилева, персонажами, относящимися к его роду и повторяющимися магическими предметами, в 2010 г. вышла трилогия С. Волкова «Чингисхан». Ее героя, Артема Новикова, ведет к месту усыпления еще не умершего Чингисхана под водопадом возле горы Хан-Тенгри магическая статуэтка серебряного коня. Герой время от времени впадает в трансперсональное состояние и «проваливается» в пространство и время Чингисхана, видит мир его глазами. Вдобавок и в настоящем он обнаруживает в себе бесстрашного и ловкого воина. Однако осознав, что он лишь инструмент возвращения Чингисхана в мир и историю, герой «побеждает» его и тем самым отказывается от своей миссии:

Передо мной вдруг, впервые за все время, открывается некая моральная сторона проблемы: а ведь если Чингисхан возродится к жизни, он начнет войну. Он этого хотел еще тогда, перед смертью. У войны этой будут благие, как он считает, цели. Но это будет война, и вести ее будут люди нашего времени, с нашим оружием. А значит – миллионы погибших, разрушенные города, выжженные земли, кровь и смерть. Нет [9. С. 132].

Я сумел победить, пересилить мощь коня – и Чингисхана [9. С. 147].

Таким образом, имперская миссия обоих героев оказывается невыполнимой, а возвращение самой империи откладывается на неопределенное время.

В конце 1990-х гг. настоящим новым словом как в отечественной фантастике, так и в элитарной литературе стал роман «исторической альтернативы» петербургского «фундаменталиста» П. Крусанова «Укус ангела», в котором инфернализированный герой, Иван Чума, воссоздает мощь Российской империи, объявляя войну Западу. Иван – сын русского офицера и китайки: «...кровь, признаться, у него редкая – кровь двух евразийских империй» [10. С. 97]. Слияние русского и китайского имперского генотипов стало причиной рож-

дения нового типа сверхнационального героя, у которого одна цель – любой ценой создать новое имперское государство.

Однако в 2013 г. в романе того же автора «Ворон белый» мы встречаемся с новой версией евразийской империи и будущего России. Она вбирает в себя черты всех номадических империй Евразии (скифской, гуннской, монгольской), получая обобщенное наименование «Русская кочевая империя»: «Однако сняться с места для нас, граждан кочевой империи, и впрямь не составляло труда» [11. С. 52]. Одной из первых жертв Желтого Зверя становится бригад-майор 1-й Сибирской эскадры военно-воздушного флота кочевой Русской империи Буй-тур Глеб, истинный евразиец:

Империи грозила опасность – он ощущал сгущение беды тонким чутьем, и от этого беспокойного чувства номадическая кровь, разом вспыхнув, бежала по его жилам, как дорожка горящего пороха. Ведь он, кочевник духа, правил Евразией – таковы его обязанность и долг [11. С. 121].

Будучи русским по крови, бригад-майор, присвоивший себе престранство Евразии... [11. С. 122].

На этот раз, в отличие от «Укуса ангела», автор акцентирует русскую (древнерусское имя) и вместе с тем евразийскую природу персонажа.

На фоне поисков героями апокалипсического Желтого Зверя начинается война между Русской кочевой империей и Китаем, в ходе которой Россия выступает как защитница Монголии от китайской экспансии: «Русская империя объявила Пекину ультиматум: если в течение восемнадцати часов боевые действия не будут остановлены, китайские войска не удалены из Монголии и не отведены из Синьцзяна и от пограничных берегов Аргуни и Амура, Россия оставляет за собой право прокочевать от своих юго-восточных границ до Южно-Китайского моря...» [11. С. 223]. Крусанов дополняет неоевразийскую теллуократию вполне оригинальной русской аэрократией, производной от былого тенгрианства Монгольской империи, и казачьим номадическим этосом:

<...> в воздухе безраздельно господствовали крылатые казаки. Эскадрильи летающих монахов, на которые духи Срединной империи возлагали большие надежды, против них оказались – ничто, как пух против ветра. Аэрократия – такова была геополитическая идея русского евразийства, поскольку небо, по голубым полям которого вольно текут воздушные реки, сплавляя в низовья полные дождя

облака, подобно Евразии, не знает границ. И доктрина владычества в небе демонстрировала завидную состоятельность как в сравнении с западной талассократией, так и в споре с ориентальной концепцией земляного господства. Ведь небо покрывает и море, и материк, как Божья воля покрывает правых и неправых [11. С. 225].

Очевидно, что Крусанов по-иному моделирует будущее и настоящее Русской империи, склоняясь к ее номадической, протомонгольской природе.

Итак, Российская империя и ее исторические варианты представляют продолжением Монгольской империи. Эти государственные образования находятся на территории ее бывшего Западного улуса или частично совпадает с ней. Естественно, что эта имперская преемственность предстает как угрожающая своим соседям (как «ордынцы»-русские в современной украинской публицистике и блогосфере) или становится источником пространственного хаоса. Так, в повести В. Отрошенко «Дело об инженерском городе» (2004) Российская и Монгольская империи сосуществуют в настоящем в рамках единого евразийского пространства «степи» и фрагментации слишком громоздкой Российской империи XIX в.

Два инженера-иностранца – француз Бельтрами и итальянец из Венеции Гаспаро Освальди, планируя строительство казачьей столицы – Новочеркасска, в донской степи в начале XIX в. обнаруживают загадочный движущийся город, который отсутствует на географических картах. Освальди попадает внутрь странного города. Последний оказывается Новым Каракорумом – кочующей столицей гигантской монгольской империи во главе с императором Туге. Город находится в постоянном движении, но источник этого движения неизвестен. На разных картах, которые обнаруживают персонажи повести, пространства Монгольской и Русской империй совпадают, как бы накладываясь друг на друга: «Она (карта. – В.М.) показывала ту же область мира, которую занимает ваша империя. Однако латинская надпись на карте сообщала о другой империи» [12. С. 213].

В повести обе империи время от времени встречаются в степном пространстве или сближаются до видимой дистанции. Обитатели Нового Каракорума и не подозревают о существовании Российской империи:

Великий император Туге отвечает тебе: Новый Каракорум кочует в настоящее время по территории улуса Джучи – так называется испокон веков западная часть империи [12. С. 204].

<...> император Туге пребывает в полной уверенности, что он управляет огромной частью мира. Нет никаких сомнений, что империя существует только в его воображении [12. С. 205].

Император горестно посетовал, что империя слишком обширна. Чрезвычайно обширны даже отдельные ее части, называемые «улу-сами». Они удалены друг от друга настолько – «северные от южных, западные от восточных», что бедному императору порою бывает трудно поверить в их реальность, когда он кочует со своей походной столицей где-нибудь в центре империи. <...> Империя, сказал император, должна быть одинокой и безграничной, как одиноко и безгранично небо. Впрочем, вот его слова в точности: На этих пространствах, что лежат под вечным небом между восточным и северным океаном и тремя западными морями, была, есть и будет только одна империя – великая монгольская [12. С. 215].

Непостижимым образом монгольская «императорская почта» доставляет в «самый умышленный из городов русских» – Петербург – дневник Освальди: «Распечатав пакет, Денисов обнаружил в нем журнал Гаспаро Освальди и записку де-Волланта: «Сие было получено по почте тому одиннадцать лет назад» [12. С. 218].

Как и любая другая империя, монгольская в повести предстает и с трудом обозримым бюрократически-бумажным пространством, действия которого в сюжете произведения синхронизированы с фантомом уголовного «дела об инженерском городе», заведенном в атаманской канцелярии: «В императорской канцелярии непрерывно трудятся над бумагами сотни писцов и всевозможных чиновников; снаряжаются императорские курьеры; издаются указы и предписания; рассылаются письма и извещения... Кому? Куда? В пространство империи! В то фантастическое пространство, о котором император знает лишь одно – что оно «очень обширно» [12. С. 206].

В интервью Отрошенко приложению «Независимой газеты» ExLibris от 24 апреля 2005 г. писатель обстоятельно разъяснил актуальный аллегорический смысл своего Нового Каракорума и Монгольской империи:

Смысл такой: действительно, то пространство, которое занимала сначала Российская империя, потом – Советская, а сейчас – Российская Федерация со странами СНГ, впервые в единую государственную систему было организовано монголами <...>. Ключевая идея монголов-чингизидов – в подчинении человека имперской идее. Многие вещи, начиная с традиции приношения дани любым

чиновникам и заканчивая низкой ценностью человеческой жизни, – связаны именно с этой параллельной Монгольской империей, которая все время накладывается на нашу российскую реальность. В повести, собственно, изображены эти две империи <...> Император, находящийся в неизвестно как возникшем и кочующем Новом Каракоруме, издает указы, рассылает по всей империи гонцов, пребывая в полной уверенности, что он ею управляет. Атаман сидит в своем черкасском дворце, изолированном от мира бурями, наводнениями, катастрофическим ветром. Где-то далеко, в Петербурге, есть царь Александр, который тоже олицетворяет власть как вещь в себе. Гигантское пространство чревато тем, что вроде бы это и единое государство, но связи в нем нарушены. Нет связи с Петербургом, невозможно доехать и до Нового Каракорума, потому что после наводнения степь сковал страшный гололед (и это, кстати, единственный невыдуманный факт в этой повести: именно в 1804 году, когда происходят описываемые события, было сначала наводнение, а потом вся степь внезапно замерзла). Монгольский император вообще находится в своем замкнутом мире – безвыходном Каракоруме [13].

Итак, для самого автора это сатирический гротеск, продолжение «Истории одного города».

В современной российской «фолкхистории» (термин предложен Д. Володихиным) отброшены традиции не только евразийства, но и русской исторической науки, советских исторических романов (В. Ян, И. Калашников и др.), посвященных созданию Монгольской империи. На первый план выходит сюжет «поглощения»: Российская империя не просто наследует Монгольской, последней, оказывается, не существовало ни в географии, ни в истории. Историки-фантазеры отождествляют историческую Монголию с «ордынской» частью Руси или тюркским сверхгосударством. Этот сюжет тоже своего рода «исторической альтернативы» разворачивается в псевдо-исторической книге Г.В. Носовского и А.Т. Фоменко «Империя» (2012), в публицистике одного из лидеров современной массовой литературы А. Бушкова («Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы» (1996), «Чингисхан. Неизвестная Азия» (2006)). В этих повсюду увлекательных опусах, якобы разбивающих аксиомы официальной историографии, отрицается само историческое существование либо монголов, либо Монгольской империи, они становятся частями исторической Московской Руси. Уровень развития Монгольской империи неправомерно сравнивается со сравнительно слаборазвитой современной Монголией.

Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко так суммировали свою концепцию:

По нашей гипотезе Орда = Рать – не есть иностранное образование, захватившее Русь извне, а есть просто русское регулярное войско, входившее неотъемлемой составной частью в древнерусское государство. 1. «Татаро-монгольское иго» было просто периодом военного управления в русском государстве. Никакие чужеземцы Русь не завоевывали. 2. Верховным правителем являлся полководец-хан = царь, а в городах сидели гражданские наместники – князья, которые обязаны были собирать дань в пользу русского войска, на его содержание. 3. Таким образом, древнерусское государство представляется единой Великой = «Монгольской» империей, в которой было постоянное войско, состоящее из профессиональных военных (Орда) и гражданская часть, не имевшая своих регулярных войск. Поскольку такие войска уже входили в состав Орды = Рати. 4. Русско-Ордынская империя просуществовала с XIV века до начала XVII века [14].

Авторами широко используются квазиэтимологические штудии, которые позволяют им русифицировать монгольские имена и топонимы. Подобные трактовки отталкивают Россию от ее старинного геополитического союзника, лишают Монголию ее важнейшего исторического мифа и культурного героя, дают козыри нашим сегодняшним оппонентам (см. массированное использование пейоративов «монголкацапы», «ордынцы», «орда» в сетевой российско-украинской полемике).

Разоблачения псевдоисториков-«хронологистов» использовал в своей первой публицистической книге будущий «топ-автор» отечественной массовой литературы А. Бушков. В книге «Россия, которой не было: загадки, версии, гипотезы» одну из глав («О том, что известно всем») он посвятил, по сути, популяризации точки зрения Носовского и Фоменко:

Никакие «монголы» не приходили на Русь из своих степей. 2. Татары представляют собой не пришельцев, а жителей Заволжья, обитавших по соседству с русскими задолго до пресловутого «нашествия». 3. То, что принято называть татаро-монгольским нашествием, на самом деле было борьбой потомков князя Всеволода Большое Гнездо (сына Ярослава и внука Александра) со своими соперниками-князьями за единоличную власть над Русью. Соответственно, под именами Чингисхана и Батыя как раз и выступают Ярослав с Александром Невским [15. С. 332].

Позже он отчасти поменял свои взгляды, продолжая настаивать на том, что исторические монголы к Великой монгольской империи никакого отношения не имеют, а ее саму создали тюркские народы:

<...> в Чингисхана я верю. В его военные походы – тоже. Верю и в его потомков, в их свершения. Не верю и ни за что не поверю только в одно: в то, что все эти охватившие чуть ли не полмира битвы и потрясения устроил кочевой народ под названием *монголы*, пустившийся «к последнему морю» с территории *Монголии* [16. С. 18].

Итак, очевидно, что прямая преемственность России по отношению к Великой монгольской империи для отечественной литературы чужда: ее историческое прошлое и будущее носит гетерогенный характер, включая в себя акцентированные черты Китайской империи или обобщенный образ евразийской кочевой империи. Это можно объяснить как сохраняющимся негативным отношением к завоеваниям Чингисхана в русской культуре, так и зависимым геополитическим статусом нынешней Монголии. В популярных отечественных версиях русской истории все больше распространяется полное отрицание самой возможности существования Монгольской империи. Модель же сосуществования двух империй на одной территории возможна лишь в сатирическом гротеске и в рамках определенного места и времени (придонские степи в начале XIX в. в повести Отрошенко). Наибольшие возможности для литературного освоения евразийского вектора России предоставляют современные лирика и лироэпика, в которых автор, не утруждая себя детализацией, апеллирует к общей духовной сущности евразийского государства.

Литература

1. Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Эксмо, 2007. 736 с.
2. Ян В. Чингисхан. М.: АСТ, 2015. 416 с.
3. Гумилев Л.Н. От Руси до России. URL: <http://www.bibliotekar.ru/gumilev-lev/32.htm> (дата обращения: 10.10.2015).
4. Дугин А. Чингис-хан и монголосфера (по мотивам книги калмыцкого евразийца Хара-Давана). URL: <http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=542> (дата обращения: 10.10.2015).
5. Берязев В. И горизонт неохватен и рдян... // День литературы. 2011. № 1 (173). URL: http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=235 (дата обращения: 10.10.2015).
6. Берязев В. Знамя Чингиса: Книга поэм. М.: Водолей, 2013. 224 с.

7. Володихин Д. Неоампир. Империя в российской фантастике. URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2001-05-08/3_neoampir.html (дата обращения: 10.10.2015).
8. Хольм ван Зайчик. Дело жадного варвара. Дело незалежных дервишей. Дело о полку Игоре. СПб.: Азбука-классика, 2005. 800 с.
9. Волков С. Чингисхан. Кн. 3. Солдат неудачи. М.: АСТ, 2011. 224 с.
10. Крусанов П.В. Укус ангела: роман. СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. 288 с.
11. Крусанов П.В. Ворон белый: История живых существ. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2013. 320 с.
12. Отрошенко В. Персона вне достоверности. М.: FreeFly, 2005. 224 с.
13. Отрошенко В. «Самый жизнеспособный жанр – это книга». URL: http://www.litkarta.ru/dossier/voznensenskiy-otroshenko-interview/dossier_9286/ (дата обращения: 10.10.2015).
14. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. URL: <http://lib.ru/FOMENKOAT/imperia1.txt> (дата обращения: 10.10.2015).
15. Бушков А. Россия, которой не было. СПб.: Нева, 2007. 576 с.
16. Бушков А. Чингисхан: Неизвестная Азия. М.: Олма Медиа Групп, 2007. 544 с.

THE MONGOL EMPIRE IN MODERN RUSSIAN IMPERIAL PROJECTS: FANTASTIC FICTION, PUBLICISM, FOLK HISTORY

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 1(7), pp. 181–197. DOI: 10.17223/24099554/7/11

Valery V. Maroshi, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: maroshi@mail.ru

Keywords: Eurasia, empire, Russian, Mongolian, alternative, modern, literature.

The role of the great Mongolian Empire in the formation of the Russian Empire was studied in the 1920s by the Eurasianists and Lev Gumilev, and from the early 1990s – by the Neo-Eurasianists. During the crisis and the collapse of the Soviet Union, the historical facts ceded to the poetic rhetoric and the need for a new gathering of lost territories. One of the first who responded to the challenge was a Siberian Eurasian poet V. Beryazev. The return of Genghis Khan in his lyrics and poems is determined primarily by the moral imperatives of justice and statehood, ethos of allegiance and loyalty. The Russian fantasy fiction of the late 1990s formed a narrative of the return of Empire in an alternate past or near future. The Chinese Empire becomes the strongest rival of the Mongolian, as for example, in the cycle of novels *The Eurasian Symphony* by V. Rybakov and I. Alimov, in which China and Mongolia unite with Russia into a single state named Ordus. In *The White Raven* by P. Krusanov, Russia is represented as a Eurasian nomadic Empire, starting war with China which attempts to annex Mongolia. In *The Engineer's Town* by V. Otroshenko, Russian and Mongolian empires coexist in the present, in parallel time-worlds within the single Eurasian space of southern steppes and fragments of the cumbersome Russian Empire of the nineteenth century. From time to time both empires encounter in the steppe or approach each other too close. This phantasmagorical writing should be viewed rather in the tradition of satirical grotesque and absurdism of Russian authorities in literature. The pseudo-historical *The Empire* by G.V. Nosovsky and A.T. Fomenko as well as journalism of one of the leaders of modern mass-literature A. Bushkov (“Russia that did not exist: Riddles, versions, hypothesis”, “Genghis Khan. The Unknown Asia”) deny the historical existence of either the Mongols or the Mongol Empire, which become part of the historical

Muscovy. The level of development of the Mongol Empire is incorrectly compared to modern Mongolia. The authors widely use quasi-etymological studies that allow russification of Mongolian names and toponyms.

References

1. Trubetskoy, N.S. (2007) *Nasledie Chingiskhana* [The legacy of Genghis Khan]. Moscow: Eksmo.
2. Yan, V. (2015) *Chingiskhan* [Genghis Khan]. Moscow: AST.
3. Gumilev, L.N. (n.d.) *Ot Rusi do Rossii* [From Rus to Russia]. [Online] Available from: <http://www.bibliotekar.ru/gumilev-lev/32.htm>. (Accessed: 10th October 2015).
4. Dugin, A. (n.d.) *Chingis-khan i mongolosfera (po motivam knigi kalmyskogo evraziyska Khara-Davana)* [Chingis-Khan and the Mongolosphere (based on the book by the Kalmyk Eurasianist Khara-Davan)]. [Online] Available from: <http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=542>. (Accessed: 10th October 2015).
5. Beryazev, V. (2011) *I gorizont neokhvaten i rdyan...* [And the horizon is endless and red...]. *Den' literatury*. 1(173). [Online] Available from: http://denlit.ru/index.php?view=articles&articles_id=235. (Accessed: 10th October 2015).
6. Beryazev, V. (2013) *Znamya Chingisa: Kniga poem* [The Banner of Genghis: The Book of Poems]. Moscow: Vodoley.
7. Volodikhin, D. (n.d.) *Neoampir. Imperiya v rossiyskoy fantastike* [Neoampir. The Empire in Russian Science Fiction]. [Online] Available from: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2001-05-08/3_neoampir.html. (Accessed: 10th October 2015).
8. Zaychik, H. van. (2005) *Delo zhadnogo varvara. Delo nezaleznykh dervishey. Delo o polku Igoreve* [The case of a greedy barbarian. The case of an unrelieved dervish. The case of Igor's campaign]. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
9. Volkov, S. (2011) *Chingiskhan. Kniga 3. Soldat neudachi* [Genghis Khan. Book 3. Soldier of Failure]. Moscow: AST.
10. Krusanov, P.V. (2013a) *Ukus angela* [The Bite of an Angel]. St. Petersburg: Azbuka-Attikus.
11. Krusanov, P.V. (2013b) *Voron belyy: Istoriya zhivyykh sushchestv* [The White Raven: A Story of Living Beings]. St. Petersburg: Azbuka, Azbuka-Attikus.
12. Otroshenko, V. (2005) *Persona vne dostovernosti* [The Person Beyond Credibility]. Moscow: FreeFly.
13. Otroshenko, V. (n.d.) *Samyy zhiznesposobnyy zhanr – eto kniga* [The most viable genre is a book]. [Online] Available from: http://www.litkarta.ru/dossier/vozneshenskiy-otroshenko-interview/dossier_9286/. (Accessed: 10th October 2015).
14. Nosovsky, G.V. & Fomenko, A.T. (n.d.) *Imperiya. Rus', Turtsiya, Kitay, Evropa, Egipet. Novaya matematicheskaya khronologiya drevnosti* [Empire. Russia, Turkey, China, Europe, Egypt. New mathematical chronology of antiquity]. [Online] Available from: <http://lib.ru/FOMENKOAT/imperia1.txt>. (Accessed: 10th October 2015).
15. Bushkov, A. (2007a) *Rossiya, kotoroy ne bylo* [Russia that did not exist]. St. Petersburg: Neva.
16. Bushkov, A. (2007b) *Chingiskhan: Neizvestnaya Aziya* [Genghis Khan: The Unknown Asia]. Moscow: Olma Media Grupp.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Алексеев Павел Викторович – д-р филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы Горно-Алтайского государственного университета.

E-mail: conceptia@mail.ru

Анисимов Кирилл Владиславович – д-р филол. наук, доцент, профессор кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета; ведущий научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН (сектор истории литературы).

E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Гузайров Тимур – PhD, научный сотрудник кафедры русской литературы отделения славянской филологии Тартуского университета (Эстония).

E-mail: tguzaïrov@gmail.com

Киселев Виталий Сергеевич – д-р филол. наук, доцент, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: kv-uliss@mail.ru

Лебедева Ольга Борисовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: obl25@yandex.ru

Мароши Валерий Владимирович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.

E-mail: maroshi@mail.ru

Пушкарева Юлия Евгеньевна – магистрант филологического факультета Томского государственного университета.

E-mail: pia11@yandex.ru

Соловьев Константин Анатольевич – д-р ист. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова.

E-mail: Solovka-05@yandex.ru

Созина Елена Константиновна – д-р филол. наук, профессор, заведующая сектором истории литературы Института истории и археологии Уральского отделения РАН.

E-mail: elenasozina1@rambler.ru

Франк Сузанне – PhD, профессор, директор отдела восточнославянских литератур и культур Института славистики Берлинского университета им. Гумбольдта (Германия).

E-mail: susanne.frank@staff.hu-berlin.de

Янушкевич Александр Сергеевич – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: asyanush50@yandex.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИМАГОЛОГИЯ И КОМПАРАТИВИСТИКА»

Редакция принимает статьи, набранные в текстовом редакторе Word. Статьи должны быть представлены в электронном и в распечатанном виде (формат А4). Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т.п.) дополнительно предоставляются в отдельных файлах, вложенных в авторскую электронную папку.

Все рисунки выполняются только в черно-белой гамме, полноцветные иллюстрации не допускаются.

В начале статьи указывается номер по Универсальной десятичной классификации (УДК), приводятся (каждый раз с новой строки):

- инициалы и фамилия автора;
- название статьи (строчными буквами, например: Идеологический контекст «Собрания стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году»);
- её краткая аннотация (500 знаков), которая выделяется курсивом и отделяется от текста статьи пропуском строки; ключевые слова (3–5).

Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14 кеглей, межстрочный интервал – полуторный, поля (все) – 1,5 см, абзацный отступ – 0,5 см.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи такие шрифты должны быть представлены в редакцию в авторской электронной папке.

Нумерация страниц сплошная, с 1-й страницы, внизу по центру. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, тома и страницы, например: [1. Т. 2. С. 25]. Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо приводить только один источник. Обязательно указание количества страниц в используемых источниках.

Примечания оформляются в виде постраничных сносок. Если в примечаниях присутствуют ссылки на используемую литературу, номер этих источников в списке литературы должен быть соотнесён с нумерацией источников в основном тексте статьи, после которых (перед которыми) вставлено примечание со ссылкой на источник. Примеры оформления можно посмотреть на сайте журнала (<http://journals.tsu.ru/imagen>) в разделе «Архив».

Двумя отдельными файлами (а также в виде распечаток) обязательно предоставляются:

Англоязычный блок:

- английский вариант инициалов и фамилии автора;
 - перевод названия своей организации;
 - перевод названия статьи (например: Ideological context of "Collection of Poems Relating to the Unforgettable 1812");
 - автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков, включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;
 - перевод ключевых слов на английский язык.
- Сведения об авторе по форме:
- фамилия, имя, отчество (полностью);
 - учёная степень, учёное звание;

– должность и место работы / учёбы (кафедра / лаборатория / сектор, факультет / институт, вуз / НИИ и т.д.) без сокращений, например: **КИСЕЛЕВ Виталий Сергеевич** – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета. E-mail: kv-uliss@mail.ru

Кроме того, отдельно в том же файле указываются:

– Ф.И.О., должность и место работы научного руководителя (для студентов, аспирантов и соискателей);

– специальность (название и номер по классификации ВАК);

– телефоны (рабочий, сотовый).

Статья и сведения об авторе заверяются подписью автора (и научного руководителя – в случае, если автор не имеет учёной степени).

Всего оформляется и подаётся три электронных и бумажных документа:

– текст статьи с аннотацией на русском языке;

– английский вариант имени и фамилии автора, названия своей организации; перевод названия статьи и ключевых слов; автореферат статьи на английском языке (2500–3000 печатных знаков; включая пробелы) и исходный текст автореферата на русском языке;

– сведения об авторе.

Файлы, представляемые в редакцию, должны быть поименованы по фамилии автора в латинской графике (например: Ivanov1.doc, Ivanov2.doc, Ivanov3.doc) и вложены в папку, названную аналогично (например, Ivanov). При передаче электронной папки обязательно использование архиваторов WinZip или WinRar (например, Ivanov.zip или Ivanov.rar).

Авторы должны представить в редакцию заполненный бланк, в котором указывается согласие автора на публикацию статьи и размещение её в Интернете. Письмо должно быть подписано автором и заверено в организации, в которой работает или обучается автор. В случае соавторства каждый из авторов подписывает и заверяет отдельное письмо.

Статьи принимаются по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет (ТГУ), филологический факультет, редакция журнала «Имагология и компаративистика», Хомуку Николаю Владимировичу¹.

Электронные версии материалов обязательно размещаются в «личном кабинете» автора на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/imago/>

После регистрации и прикрепления статьи авторы имеют возможность отслеживать изменение её состояния (получение бумажного варианта, результат рецензирования и т.д.).

¹ По желанию автора бумажные варианты могут быть заменены сканированными PDF-файлами и представлены в редакцию в отдельной заархивированной папке посредством прикрепления на сайте параллельно с электронными вариантами материалов.

Научно-практический журнал

ИМАГОЛОГИЯ
И КОМПАРАТИВИСТИКА

IMAGODOLOGY AND COMPARATIVE STUDIES

2017. № 7

Редактор Т.В. Зелева
Компьютерная верстка Т.В. Дьяковой

Подписано в печать 16.06.2017.

Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Печ. л. 12,5; усл. печ. л. 11,6; уч.-изд. л. 12,1. Тираж 500 экз. Заказ № 2560

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома

Томского государственного университета,

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49

<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru